

*Пред вами не хочу душой кривить,
И не хочу бессовестно лукавить,
И побасёнки наглые травить.
А ведь себя мог запросто прославить...¹*

Х

ОТЯ БАШКА РАСКАЛЫВАЛАСЬ и гудела как пивной котел (накануне был день рождения одного из сослуживцев), ноги упорно несли меня на работу.

Вернее, сначала не ноги, а маршрутка, потом другая, а потом... А потом, около торговых рядов мини-рынка, что метрах в ста от нашего Дома Печати, я притормозил. Вопрос вопросов: идти «на розлив» или не идти? Yes or no? Быть или не быть?..

Не знаю, чем бы закончилась эта битва гигантов — то бишь, моего высокодуховного собственного «Я» с низменно-пошлыми химико-биологическими процессами, протекающими сейчас в моем же бедном организме и неистово требующими хотя бы минимального «продолжения банкета», если бы я не увидел вдруг секретаршу директора нашего издательства, которая стояла возле одного из киосков и разглядывала витрину.

Журнальный вариант

¹ Здесь и далее использованы фрагменты стихотворений А.Н. Маковкина (авт.).

Сказать ее — ни за что не поверите — Лейла. Господи боже мой, за сорок с таким лет проживания в нашем городе женщин с таким именем я не встречал и даже не предполагал, что они вообще здесь водятся. Нет, ну откуда, откуда, скажите на милость, взяться у нас Лейлам?!

Объяснила это она в один из первых дней после поступления на работу в издательство. Звонким голосом сказала: «Мама у меня русская, а папа — черкес. Когда я родилась, это он настоял, чтобы меня назвали Лейлой...»

А по отчеству была — Шамсудиновна. С ума сойти, верно? Так вот, именно эту самую Лейлу Шамсудиновну, пол женский, национальность уже указал, двадцать шесть лет, сто семьдесят росту, ноги если и не от зубов, то уж от ключиц точно, попа — так и тянет потрогать, осиная талия как у ребенка, маленькие задорные груди, чуть вздернутый носик, румяные щеки, огромные, в пол-лица, глазницы, грива длинных светло-русых вьющихся волос, ну и т.д. и т.п., — узрел я сейчас на своем тернистом пути похмелья.

Она стояла ко мне спиной, и я хотел было прошмыгнуть незамеченным, однако же не вполне обычная картина заставила малость притормозить.

А картина была следующей: разглядывая что-то на самом верху витрины, Лейла Шамсудиновна привстала на цыпочки, и ее и без того длинные обалденные торчащие из-под светлой мини-юбки ноги (апрель выдался на диво теплым, и, покрытые легким пушком, их уже чуть тронул загар)... В общем, ноги эти стали еще длиннее и еще обалденнее. Но дело, как говорит наш директор, не в этом. Вернее, не только в этом, а еще и в том, что откуда ни возьмись возле Лейлы вдруг нарисовался некий полузагадочный мужичок с заграпезной хозяйственной сумкой, почти волочащейся по земле, и... И вот тут-то я, граждане, затормозил окончательно, хотя к данному моменту уже практически прошел мимо и Лейлы, и мужика, и киоска.

Но что же меня все-таки остановило, спросите?

Отвечу. То, что мужик начал медленно и аккуратно подсовывать сумку... как бы это выразиться... Под нашу секретаршу, что ли? А если точнее — то пропихивать эту позорную, замызганную сумку меж двух самых фантастических ног, какие мне только за всю мою, не бедную, в общем-то, на различные зрелища жизнь доводилось видеть.

И честное слово, я опешил. Какое-то время я остолбенело наблюдал за маневрами этого типа, забывшего, казалось, обо всем на свете и даже высунувшего от старания кончик языка. Но взор-то его был устремлен вовсе не на Лейлу Шамсудиновну, а... в сумку. Гм, я тоже решил посмотреть туда. Вернулся, заглянул ему через плечо, и...

Первое, что увидел, был большой кусок зеркала, лежащий на дне в остальном совершенно пустой сумки. А второе... Но впрочем, что тут было первым, а что вторым, сейчас уже рассудить трудно...

Как дурак я вылупился в чрево сумки и, каюсь, на протяжении нескольких секунд не мог оторвать замороженного взгляда от зеркала. Или — не зеркала, а того, что оно нам открывало...

Чёрт! «Нам»?! Я даже забыл, что являюсь не единственным зрителем этого великолепия. А когда вспомнил...

Ёлки-палки!!! Как и почти всё мужское население нашего маленького коллектива, я был безнадежно, а потому тупо и пассивно влюблен в Лейлу Шамсудиновну...

Почему тупо? Наверное, потому, что в ее присутствии моментально тупел — и куда только девалось всё то, что при иных обстоятельствах казалось мне (и другим) неоспоримыми достоинствами: вроде бы довольно острый язык, некоторая, так сказать, эрудиция, репутация опытного литературного редактора плюс соб-

ственные публикации не только в газетах, но и журналах, сборниках публицистики и прозы и — куда венец моей скромной литкарьеры: книга «мистики и фантастики», вышедшая не так давно в нашем издательстве... Эх-х, открою страшную тайну. В одном из крупнейших столичных издательств пребывали сейчас на рассмотрении рукописи двух моих новых романов — первых опытов в жанре детектива. Ну и, естественно, я с немалым волнением ждал ответа. Ждал и, как понимаете, — надеялся...

Да, чуть не забыл! Я же еще вроде бы недурно (по бытовым меркам) шкрябал на гитаре и во время всевозможных застольных мероприятий являлся первым парнем на деревне: под мой аккомпанемент наши дамы распевали обширнейший песенный репертуар — от Руслановой до Пугачевой. Когда же более или менее прилично поднабирался сам, то начинал диктовать и, извиняюсь за выражение, исполнять свой любимый репертуар: ВИА шестидесятых-семидесятых и — как венец моей, на сей раз музкарьеры, — песни «Битлз». Увы, слова этих песен за минувшие десятилетия я основательно подзабыл, а потому врал порой так безбожно, что Леннон с Харрисоном наверняка не единожды перевернулись в гробу.

...Слушайте, но к чему это я? Ах да, к тому, что в присутствии Лейлы Шамсудиновны моментально тупел. Но почему, спросите, я был влюблен в нее «пассивно»? Ох, да потому, что, во-первых, у Лейлы Шамсудиновны имелся муж, на год младше ее, по информации издательских женщин, «что-то типа «нового русского», — ну а куда мне, совсем не Алену Делону, да к тому же обремененному всем классическим житейским набором, составлять амурную конкуренцию «чему-то типа «нового русского»? Ну и во-вторых, дело в том, что в день прихода Лейлы Шамсудиновны в издательство еще один наш редактор, многоопытный пожилой интриган и философ, а по совместительству супруг румяной девахи лет на двадцать пять моложе его Лев Васильевич Кораблев, громогласно объявил:

— Внимание, дамы! Отныне и навсегда титул «Мисс Издательство» переходит к несравненной Лейле. Мужчины! Возле приемной попрошу не суетиться и не создавать толчеи. Организуйте очереди!..

Вот! Вот и по этой причине тоже я был «пассивен». Никогда и ни при каких жизненных обстоятельствах, а т а к и х — тем более, в очередь я не стану. Не стану! Я никогда не стою в очередях. Надеюсь, вы меня понимаете. Ну, а остальные...

Остальные женщины, как нетрудно догадаться, после столь оскорбительной для них речи почти поголовно возненавидели Лейлу Шамсудиновну, явившуюся в наш скромный и затюканный курятник во всем своем великолепии и разнообразии нарядов, точно фея или же создание совсем-совсем другого — воистину б л и с т а ю щ е г о мира.

Остальные же мужчины, ей-ей, просто рехнулись. К примеру, наш художник, тощий и всегда как бы малость запыленный Елисей Парисович Баранов, еще молодой (на пару лет моложе меня), но жутко скупой и желчный субъект, совсем перестал сидеть на рабочем месте. Теперь он постоянно дежурил на часах в приемной (если, конечно, не играл в шахматы с заместителем директора по торговле, бывшим главным редактором издательства Валерием Макаровичем Преображенским), лихо там каламбурил, острословил, ёрничал и, говорят даже, — о ужас! — несколько раз угощал Лейлу Шамсудиновну шоколадкой. Громкий смех, доносившийся из приемной, страшно злил наших дам, и не только дам, а и наших же, ревнивых, мужей.

Но это были еще цветочки. Как-то раз Лейла Шамсудиновна, зайдя ко мне в кабинет, показала несколько посвященных ей Елисей Парисычем стихотворений. И знаете, они были неплохими.

— Вот видите, Юрий Дмитрич, — проговорила Лейла Шамсудиновна.

— Вижу, — кивнул я.

— И что скажете? — склонилась она голову набок.

— Нет, ну а что тут сказать? — вздохнул я. — Настоящий талант, он как диагноз. Его не задушишь, не убьешь и не спрячешь, когда-нибудь обязательно всплывет. Как, впрочем, и подлинное, глубокое чувство.

Лейла Шамсудиновна прищурилась:

— А вы знаете, что Елисей Парисович сделал мне предложение?

Я поперхнулся сигаретным дымом.

— Как это?!

— А вот так. Написал на листке: «Глубокоуважаемая Лейла Шамсудиновна, выходите за меня замуж» и подбросил листок в приемную.

Я невольно поёжился.

— Господи, и что же вы ответили?

Она пожала плечами:

— Что вообще-то пока еще в некотором роде замужем.

Я тоже пожал:

— Ну, для Елисей Парисыча это не проблема. Он хлопец упорный — будьте уверены, не отстанет... Но зачем вы показали эти стихи мне?

Она чуть помедлила с ответом.

— Мне интересно мнение редактора и человека пишущего.

Я покачал головой:

— Стихов, Лейла Шамсудиновна, не писал, не пишу и, надеюсь, не буду. А как редактор говорю вполне чистосердечно: стихи действительно хорошие. (Да, замечу в скобках, что к началу данных событий Елисей Парисович пребывал в отпуске, и таким образом Лейла Шамсудиновна временно осталась без своего самого активного дыхателя.)

Ну и еще один представитель нашей хилой мужской команды был неслабо возбужден появлением в издательстве Лейлы. Виктор Петрович Булков — маленький, черно-седенький, возрасту уже пенсионного, но всё еще шустрый и бойкий, большой любитель настольного тенниса и вдобавок страшный антисемит. Когда несколько лет назад директор взял на себя исполнение обязанностей главного редактора и, не зная, куда девать Валерия Макаровича, назначил его замом по торговле, последний, не зная, в свою очередь, куда пристроить своего верного Санчо Пансу, бывшего заведующего редакцией художественной и детской литературы, а на тот момент грузчика Виктора Петровича, пролоббировал его назначение начальником торгово-коммерческого отдела.

В результате всех этих кадровых перемещений особого благоденствия в издательстве почему-то так и не наступило, однако шестидесятилетним Валерию Макаровичу и Виктору Петровичу было на это, похоже, глубоко наплевать. Главное, что у каждого, помимо пенсии, имелась какая-никакая, а зарплата и отдельный кабинет, в котором каждый предпочитал заниматься любимым делом: Виктор Петрович — спать, изображать ужасно загруженного работой человека и иногда принимать свою пассию, очень милую дамочку Полю, которую наше ревнивое женское население окрестило «Шубой», из-за имеющейся у Поли косматой огненно-рыжей шубы.

А любимыми делами Валерия Макаровича были: игра в шахматы, которой он отдавался поистине самозабвенно всю жизнь, но почему-то почти всегда проигрывал, и колесование, четвертование, расчленение, сажание на кол и прочие пытки, производимые им над трусливым и панически боящимся своего шефа Виктором Петровичем. Раз-два в неделю Валерий Макарович вызывал Виктора Петровича «на ковёр» и начинал жестоко применять к нему, как говорят в народе, «Ипатьевский метод» за недостатки и упущения в работе торгово-коммерческого отдела, как во времена былые применял его же за недостатки и упущения в работе

редакции художественной и детской литературы. Похоже, для Валерия Макаровича это стало просто доброй старой традицией.

Частенько после таких экзекуций некурящий, в принципе, Виктор Петрович, весь красный, потный, с наворачивающимися на его добрые антисемитские глаза слезами, прибежал ко мне, просил сигарету и, судорожно прячась в дыму, дрожащим голосом повторял:

— За что? За что?! Ведь он сам распорядился сделать так, а теперь... Юра! Юра! Он полчаса вытирал об меня ноги, а потом сказал: «Пошел на хрен!» Юра! Как же так можно!..

Ну что мне было на этот риторический вопрос ответить? Что Валерий Макарович любит вытирать об людей ноги — особенно об подчиненных, и особенно женщин, — знали все. Женщины — корректоры, редакторы, бухгалтеры частенько выбегали от него в слезах. Я всегда думал: а зачем ему это? Почему у него такая мания — дрючить подданных?! Прямо миниатюрная местная Синяя Борода какая-то. Да-а, чужая душа — потемки.

Знаете, не хотелось бы впадать в прописные истины, но лично я считаю, что просто дражайшему Валерию Макаровичу никто вовремя не дал окороту, вот он и приобрел столь оригинальное хобби. У нас с ним отношения всегда были неоднозначными, но вроде не выходящими за рамки ни с той, ни с другой стороны. Лет десять назад, правда, Преображенский попытался было применить свой излюбленный метод и ко мне, и я его чуть не ударил. Ей-богу, опомнился в последний момент. И похоже, подействовало: ничего такого, за что стоило бы бить морду, Валерий Макарович себе больше не позволял. Мало того, перейдя в торговлю, он предложил и мне оставить редакторство и влиться во вновь образованный отдел. «С тобой мы сработались бы, — веско молвил он, протирая очки. — Что скажешь?»

И я сказал. Очень вежливо сказал, что торговля — не мое призвание и работать в ней я не буду.

«А думаешь, она — мое призвание? — укоризненно покачал седеющей головой Валерий Макарович. — Но раз того требуют интересы издательства... А мне что же, прикажешь работать с этими?..»

Вот тут я, правда, точно не помню, как он выразился, — не то «клоунами», не то «придурками», имея в виду несчастного Виктора Петровича и еще одного «бывшего»: бывшего снабженца, срочно переделанного в заместителя Булкова Анатолия Ефремовича Ручкина, горластого, пробивного мужика, любителя потискать баб и в то же время жутко боящегося свою грозную супругу.

Ну а я Преображенскому тогда сказал, что ежели вопрос о переводе в торговый отдел будет ставиться жестко, я напишу заявление об уходе. После этого Валерий Макарович отцепился, но сильно сомневаюсь, что отношение его ко мне стало благожелательнее.

— ...Что? Ну что мне делать, Юра?! — горестно заламывал меж тем руки бедный Виктор Петрович.

Я тоже закурил, притворился, что глубоко задумался, и предложил:

— Да пошлите и вы его.

Виктор Петрович потрясенно охнул:

— Что ты! Что ты!

— Нет, ну а что? — рассердился я. — Я бы давно послал.

Виктор Петрович повесил нос.

— Не могу... Понимаешь, он воздействует на меня как удав на кролика. Он сломал меня еще тридцать лет назад, в «Молодом пролетарии» (есть у нас такая областная газета). Преображенский был главным редактором, а я завотделом. Он сломал меня еще тогда, Юра, и теперь это — на всю жизнь...

Короче, представили в общих чертах сих персонажей, да? Ну так вот: с появлением в издательстве прекрасной Лейлы загурканный Булков явно взбодрился и тоже начал как молодой козлик бегать в приемную, храбро игнорируя суровые взгляды Елисея Парисыча, по поводу и без повода тереться около секретарши и то ли в шутку, то ли всерьез утробно стонать ей на ушко: «Я люблю тебя!», «Я хочу тебя!..»

Увы, об этой его солнечной активности кто-то из дам доложил Валерию Макаровичу, и сладкая сказка оборвалась, не начавшись. Грозно сверкая черными очами, Преображенский в который уже раз применил к впадшему, по его мнению, в блуд вассалу свой коронный воспитательный метод и отделал Виктора Петровича по самое некуда, после чего тот стал огибать приемную за версту.

— ...Вот видите, Юрий Дмитрич, — сказала мне после Лейла Шамсудиновна, — какие страсти!

— Вижу, — кивнул я. — Но это для вас покуда в диковинку, а мне-то этот цирк знаком давно.

Она покачала головой.

— А типажи... Прямо третий том «Мертвых душ», правда?

— Правда, — подтвердил я. — Зверинец у нас будь здоров. Слушайте, но с чего же это Преображенский так взъелся на милейшего Виктора Петровича? Стоп! А может, он сам тайно влюблен и ревнует?

Лейла Шамсудиновна рассмеялась:

— Что вы выдумываете, Юрий Дмитрич! Говорят, он недавно заявил: «Не пойму, что в ней находят хорошего. Пигалица с острыми коленками. Ну разве только глаза».

Я удивился:

— Позвольте! «Пигалица» — означает маленькая, а вы, уж извините, далеко не маленькая. Коленки... — Взгляд мой медицински бесстрастно переместился на объект дискуссии. — Да нет, и коленки у вас не острые, а совсем даже наоборот. Ну а глаза... — Я пристально посмотрел ей в глаза. Они были ну просто неприлично большими, темного, но какого-то трудно классифицируемого цвета, а часть левого была голубой. Для наглядности: если сравнить глаз с циферблатом часов, то голубым в нем был сектор приблизительно с полчетвертого до шести. — Глаза — это да, — снова кивнул я. — Это да, здесь я с Валерием Макаровичем солидарен целиком и полностью. Ох и представляю, какую мялку устроил он бедному Виктору Петровичу...

Ой, чуть не забыл упомянуть про третье хобби г-на Преображенского. Нравственность! Мораль! А особенно — Вера! Вот об этом — медом не корми, а дай порассуждать нашему боссу торговли и маркетинга. Во времена-то оные Преображенский, естественно, был не только главным редактором, а и главным атеистом издательства и каких только огненных стрел не метал в небеса. Но в результате «перестройки и гласности» на Валерия Макаровича, похоже, ляпнулась просто-таки самая наивысшая благодать, и он самым чудесным образом вдруг сделался страшно воинствующим православным. И, ей-ей, народ жутко умилился, когда он на каком-нибудь заседании, совещании, редсовете или планерке вдруг ни с того ни с сего так пойдет заливать о добре, чуткости, гуманизме, боге и его матери, христианских ценностях и идеалах, ну и проч., что даже у меня, относительного скептика и абсолютного пантеиста, слеза наворачивалась. Не знаю, кому как, а мне страсть интересно было слушать эти закидоны, особенно если в курсе, что, допустим, намерен он, за неудовлетворительную, по его мнению, работу пообещал одной из подчиненных: «Я вас, Марья Ивановна, щас наружу выверну!»

Каков штиль, да? «Наружу выверну!» Как будто что-либо или кого-либо можно вывернуть вовнутрь. Ну а дальше — опять о добре, о гуманизме... Правда, на

определенном этапе Валерия Макаровича от общемировых ценностей начало заходить к национальным. Но и тут та же знакомая песня: до обеда пошлет, к примеру, главную бухгалтершу далеко-далеко, а в обеденный перерыв сядет и давай развивать перед каким-нибудь несчастным свои взгляды на русский характер, русскую идею, особый русский путь развития. Ей-богу, в исполнении Преображенского такие вещи трогали исключительно...

Но слушайте, о чем это я? Я же начинал с чего? С того, что ковыляю на работу, гадаю — похмелиться — не похмелиться и вижу, как какая-то мразь сует под юбку к нашей Лейле Шамсудиновне сумку с зеркалом! Ну и...

Ну и — выиграло ретивое. Ух, как выиграло! Бедная девочка всецело поглощена витриной, ничего не замечает, а этот, гм... нехороший человек...

Как молодой архар я отпрыгнул на несколько шагов, разбежался, и...

Такому удару позавидовал бы сам Пеле. Извращенца будто кувалдой отбросило к стене киоска, в которую он врубился с воплем и грохотом.

Второй молниеносный разбег — второй пинок! Третий!..

Не оборачиваясь и закрывая голову сумкой, этот тип ломанулся между киосков и как заяц дунул через дорогу.

Я не побежал за ним. Я остыл так же моментально, как и взорвался. А может... А может, где-то в самой-самой потаенной глубине души я был даже ему благодарен? Ведь он открыл мне такое...

Я оглянулся. Стоявшие рядом люди изумленно смотрели на меня.

Изумленно смотрела на меня и Лейла Шамсудиновна.

— Здравствуйте, — хмуро буркнул я.

— Здравствуйте... — озадаченно протянула она. — Что с вами, Юрий Дмитрич?!

Что здесь произошло?

— Что произошло? — Я на секунду замер. — Н-нет, ничего... — Махнул рукой: — Ничего здесь не произошло, Лейла Шамсудиновна!

И — решительно зашагал «на розлив».

*Пойдём, мужик, со мной, в мою родную флору,
Где взгляд совсем иной и много разговору.
Мы с этим мужиком отправимся к обедне.
Я с ним давно знаком — его услышим бредни.*

К СВОЕМУ КАБИНЕТУ я шел в уже более твердом расположении духа (да и тела тоже), нежели десять минут назад. Должен пояснить, что наше книжное издательство — это этаж, верхний, четвертый, этаж городского Дома Печати, — и один длинный-предлинный, метров на сто с лишним, коридор.

Лейла Шамсудиновна стояла возле двери в приемную и, когда я вторично за это утро квакнул: «Здрасьте...», преградила мне путь.

— Юрий Дмитрич! Так что же все-таки произошло?

Я вздохнул:

— Да в общем-то, и ничего.

— Не врите!

— Ладно, не буду, — покорно кивнул я. — Один кадр лез к вам под юбку с зеркалом, а я турнул его. Удовлетворены?

Кукольное личико Лейлы Шамсудиновны вытянулось.

— Как — с зеркалом?..

— А вот так, — пожал я плечами и: — Пардон! — направился к своему кабинету, оставив секретаршу в изрядном замешательстве.

Ладно, думал я, ладно, бог с ней, надо начинать работать, в конце-то концов!

Надо начинать, а точнее, продолжать редактировать очередную рукопись очередной творца. Придвинул к себе пухлую стопу еще девственных, не маранных правой страниц, взял ручку и...

И — в дверь постучали.

— Привет!

На пороге стоял один из друзей моего детства — назовем его Вячеславом Владимировичем, тем более что все мы с самых младых ногтей его так и величали. Невысокий и мускулистый, с тонкими чертами лица, когда-то жгучий брюнет с роскошной гривой, а теперь уже почти совсем седой, Вячеслав Владимирович был изрядным циником и пессимистом, но и в то же время, ежели как следует в нем покопаться, натурой поэтической и ранимой. Да-да, именно так — поэтической и ранимой, только вот ковыряться пришлось бы, боюсь, долго-долго.

Ежели по-хорошему, не на скаку, то не видались мы, наверное, лет двадцать, а ведь когда-то вместе в индейцев играли, в перьях и боевой раскраске по лесам и заливым лугам (где теперь водохранилище наше вонючее) бегали, из луков стреляли, а позже под «Битлов» и «Весёлых ребят» самодельный ансамбль организовывали. Но, конечно, не с ним одним мы бегали-организовывали — еще несколько наших друзей бегали-организовывали. Вячеслав же Владимирович (самый старший и мудрый) был у нас и идейным, и художественным руководителем.

Он уселся на стул и, отодвинув мои бумаги, без увертюры и прелюдий извлек из пакета бутылку и сверток с закуской. Я вздохнул и тоже без увертюры и прелюдий извлек из стола два стакана. Нет, сегодня редактировать не судьба. Ну и ладно, друзья детства не каждый день заходят, правда? Да и редактор из меня сегодня, если честно, все равно как из дерьма пуля.

Ну и вот сидим мы, значит, сидим — через двадцать-то лет, «по-хорошему», время от времени по чуть-чуть выпиваем, иногда на гитаре бренчим, — и тут Вячеслав Владимирович вдруг говорит:

— Слышь, а здорово мы общаемся, правда?

— Правда, — кивнул я. — Очень даже здорово.

— А почему? — задрал указательный палец кверху Вячеслав Владимирович. — Почему здорово, а?

— Ну-у... — протянул я. — Во-первых, потому, что давно не виделись...

Он опустил палец и поморщился:

— Нет! Давно не виделись — это даже не «во-вторых», не то что «во-первых». Давно не виделись — это мелочь, хрень. А главное — главное, что мы с тобой, как я это называю, фактически дружбаны детства и гармоничные единомышленники. Да? (Вячеслав Владимирович всегда, чёрт побери, изъяснялся красиво!)

— Естественно, — охотно согласился я. — Конечно.

— Вот! — снова задрал он палец. — Вот суть, вот она, как ее... квинтэссенция! А с этими... — помолчал, — Женькой и Генкой, встречаешься?

— Да периодически.

Вячеслав Владимирович хмыкнул:

— «Периодически»! Я, знаешь ли, тоже с ними встречаюсь периодически. Между прочим, жалуются: заходишь редко и чаще выпивши.

— Бывает, — потупился я.

— Да ладно, — милостиво махнул рукой Вячеслав Владимирович. — Я тоже к ним выпивши прихожу. Вот Генка недавно поведал, что ты на Восьмое марта заваливал.

Я виновато кивнул:

— Заваливал. Он мне еще тогда рассказал, как ты на берегу «моря» нажрался и отрубился в кустах.

Вячеслав Владимирович поблдедел:

— А он не рассказал, как сам нажрался, обблевался и в гараже у меня уснул?

— Нет, — покачал я головой. — Это не рассказал.

— Вот же козёл! — возмутился Вячеслав Владимирович. — Нет, он, конечно, тоже фактически друг детства, но смотри, какой фрукт! Про тебя мне рассказал, про меня тебе рассказал, а про себя тебе ни гугу!

— Не, ну ясно, — снова вздохнул я.

Вячеслав Владимирович тонко усмехнулся:

— Это тебе ясно. Потому что ты, если можно так выразиться, хороший человек...

— Погоди-погоди, — скромно перебил я. (Эх, жаль, Лейла Шамсудиновна не слышит.) — А Генка, выходит, если можно так выразиться, нехороший, что ли?

— И Генка хороший, — тотчас же согласился Вячеслав Владимирович. — Ведь он же тоже фактически мой дружан, а стал бы я водиться с фуфлом? Просто иногда... иногда он... не очень хороший человек, понял?

— Не понял. Пожалуйста, аргументируй! — потребовал я.

Вячеслав Владимирович горько улыбнулся:

— Ты мне не веришь?

— Верю, — успокоил я. — Однако же не всегда.

— Ты меня не уважаешь?! — изумился он и понизил голос: — Вздоргнем?

— Да уважаю! — всплеснул я рукой со стаканом. — Но аргументы? Аргументы давай! — И тоже понизил: — Вздоргнем.

Вздоргнули, и его улыбка стала еще более мученической.

— «Аргументы»? Да я тебе не то что аргументы — я факты приведу. Тыщу! Милльон фактов! Или... Или один, но какой! Привести? Привести?

— Приводи, — кивнул я.

Вячеслав Владимирович скорбно передернул плечами.

— Случилось это прошлым летом. Жара стояла страшная, помнишь? Так вот, а мерзавец, которого ты защищаешь, тогда нигде не работал, а целыми днями ошивался на дальнем пляже, ну знаешь: на окраине, у мостов.

И вот однажды, прекрасным солнечным утром, взял я из дому два «огняка» самогону и поехал к Женьке. Зашел, тактично разбудил, посидели мы на лавочке, побазарили, детство вспомнили — тебя, дурака, тоже, но ты ж только когда выпивши являешься, трезвого-то тебя нету, — и подумали: а не рвануть ли нам на тот пляж, к Генке?

Сказано — сделано. «Огняки» у меня в авоське, Женька гитару прихватил, и отправились мы, как калики перехожие, в путь. Спустились на берег — и вперед. А жарко уже: идем-идем — искупнемся и дальше топаем.

— По дороге-то, поди, пили? — поинтересовался я.

Вячеслав Владимирович возмутился:

— Ты что?! Мы ж к другу шли, гостинец ему несли, как Красная Шапочка бабушке. А пешком долго, аж замахались, но наконец дошли. Вон мосты, вон пляж — чешем по песку и по сторонам глядим: где ж это здесь наш дружан?

А он, змей, первым нас увидал. Подбежал важный как король, в своих усах и шортах, и нагло так говорит:

— Вы чё приперлись?

Мы обалдели.

— Да вот тебя искали, Ген...

— А кто вас сюда звал? На хрен вы мне тут нужны? У меня, может, настроения с вами общаться сегодня нету!

Слушай, мы прямо остолбенели. Сперва остолбенели, а потом принялись к себе вести его взывать.

— Да как же так, — взываем, — Гена! Мы же фактически твои дружки. Шли к тебе сквозь пески и годы, с гитарой и самогоном — вот, почти два литра...

А он, сука, стоит точно Сфинкс, точно скала непоколебимая и:

— На хрен вы мне тут нужны! — только и повторяет. А после показывает рукой на кильдим из фанеры на пригорке: — Там щас пребывает... Ну, в общем, симпатия моя, и я, можно сказать, имею к ней некоторый морально-нравственный интерес физического свойства. Так что валите отсюда, ясно?

Ну, тут уж, сам понимаешь, сердца наши просто кровью облились. Сначала облились, а потом я говорю:

— Ах ты, — говорю, — собака! Чмо ты позорное! До этой встречи с тобой, — говорю, — я еще хоть как-то верил в людей. А теперь? Теперь — всё! Мы, как бараны, к нему, по песку, в сорокаградусную жару, с гитарой и почти двумя литрами! Думали, посидим как фактически друзья детства, «Естедей», «Об-ла-ди, об-ла-ду» попоем, выпивание произведем... А он!.. — В общем, кончились у меня все хорошие слова, махнули мы с Женькой рукой, круто повернулись и пошли прочь, гордые и неприступные как командоры.

Десять шагов прошли, гордые и неприступные. Пятнадцать, двадцать...

И — слышим: бежит, гад. Бежит, в своих усах и шортах, и орет:

— Стойте, друзья! Погодите, друзья! Вы меня не так поняли!

Ну, мы с понтом нехотя остановились:

— Чё надо? Чё тебе, — спрашиваем, — нехороший человек, еще от нас надо?

А он — видно, и впрямь осознал весь трагизм своего положения:

— Простите! Простите! Идемте, друзья! Щас всё будет ништяк! Попоем, выпьем, с симпатией познакомлю!

Ну, мы вроде как с отвращением, но ладно, сменили якобы гнев на относительную милость. Привел он нас в кильдим, с симпатией познакомил. Ничего, очень даже приличная симпатия: тугая, загорелая и одета легко-легко — жарко же.

Это... — Вячеслав Владимирович сделал паузу. — Ты уж не обессудь, парень-то ты в основном хороший, тоже фактически наш дружка, — но суть не в этом, а в том, что хотя ты мадаму ту и не знаешь, имени ее я не назову. Зачем лишний раз подвергать порядочную девушку риску быть случайно скомпрометированной, правда? Уж не обижайся.

— Да не обижайся, — заверил я, и Вячеслав Владимирович кивнул:

— Я и звать ее буду просто — Симпатия. Ну вот, познакомились, значит, сели. Симпатия, по-моему, все-таки нам не шибко обрадовалась. Но я достал из авоськи «огняк», а предатель стаканы, консервы открыл, закусточку кой-какую покромсал, мы вздрогнули за знакомство — и мало-помалу она начала оттаивать...

(А мне вдруг страшно захотелось в приемную: сесть там в кресло напротив Лейлы Шамсудиновны, смотреть на нее, слушать, как она говорит: «Юрий Дмитрич...») Мне почему-то ужасно нравилось, как она произносит эти два таких простых и давным-давно в другом исполнении навязших мне в зубах слова — «Юрий» и «Дмитрич». И...)

— ...и после второго пузыря, — грубо спугнул мои мечты Вячеслав Владимирович, — Симпатия оттаяла уже на все сто, тем более что мы взялись за гитару и принялись завывать хором и «Естедей», и «Об-ла-ди, об-ла-ду», и «Поспели вишни в саду у дяди Вани», ну и прочее-разное.

Самогоном кончился, а закуска нет. Замечу, что мы-то с Женькой пусть и пили и пели, однако с ренегатом держались довольно холодно и отчужденно. Наверное поэтому, желая уж совсем загладить свою вину, он пулей смотался куда-то и приволок пузырь водки. Но его-то, сам понимаешь, прихлопнули за пять секунд, и в кильдипе повисла некоторая, как я это называю, недосказанная невысказанность.

— Так надо было еще взять, — посочувствовал я.

Вячеслав Владимирович философски улыбнулся одними глазами:

— А деньги?

— Не было?

— Ну конечно, не было! — возмутился он. — Мы же фактически к другу шли, два пузыря несли, а кто ж знал, что он таким жмодом окажется?! Сам на хвоста прыгнул, да еще и Симпатию прицепил. Ты вот посуды: хрена нам с его водки? Лучше б он ее с этой Симпатией вылакал, а мы — свои две по ноль восемь. Это ж совсем иной коленкор получился бы, соображаешь?

— Соображаю, — вздохнул я. — Ну и чем всё кончилось?

Вячеслав Владимирович недоуменно уставился на меня:

— «Кончилось»?! Слушай, ты мне фактически хоть и друг, а прям как дурак. Да всё только начиналось!

— Но вам же надо было выпить найти?

— Ясен пень, надо. И догадываешься, кто нашел?

— Естественно, ты.

— Естественно! Потому как я не только художественный руководитель, а и просто зашибательский чувак. Я сказал, что у меня полно самогону, но в гараже.

Я ужаснулся:

— В Северном?! Да от мостов до твоего гаража километров пятнадцать!

— Не бреши! Вот только, пожалуйста, не бреши! — обиделся Вячеслав Владимирович. — Пятнадцать — это если через весь город, да на общественном транспорте. А коли ножками напрямки — семь-восемь.

Я поёжился:

— Ну, всё равно. Поддатые, пешком...

Он возмутился:

— Слушай, какой же ты лицемер! А помнишь, как мы в два ночи за ста граммами в Юго-Западный топали? А потом еще и обратно?

Но теперь и я возмутился:

— Да ты ж, гад, обещал, что там целый банкет будет!

— Ошибся, — кротко пожал плечами Вячеслав Владимирович. — По-твоему, человек не имеет в жизни права на одну-единственную ошибку?

— «Одну-единственную»! — проворчал я. — Ладно, и что дальше?

Он снова повеселел.

— Дальше? А дальше — ты забываешь, что трое из нас фактически были индейцами, которым ничем нипочем любые тяготы и невзгоды дороги.

— А Симпатия? — усомнился я. — Уж она-то, наверно, фактически не была индианкой, как ты это называешь — женщиной-скво?

— Фактически не была, — согласился Вячеслав Владимирович. — Да только едва про самогон услышала, сразу же фактически ею стала. В общем, быстро собрались и тронулись в путь. Симпатия нам поначалу здорово мешала: она ж все-таки с пол-литра на груди свои девичьи приняла — то шаталась, то спотыкалась, то по нужде.

— А вы?

— А что мы? Мы дети лесов и прерий, мы — кремень. Но постепенно и она оклемалась, и к гаражу все подошли уже как огуречики. Эй, а ты мой гараж видел?

— Не видел.

— Много потерял. Не гараж, а картинка в двух ярусах. И столики, и стулики, и лежаки, и магнитофон, и освещение, если нужно, интимное. Короче, всё есть, кроме машины. Машину-то я три года назад фактически продал.

Так вот, зашли в гараж, заперлись и спустились по лесенке вниз. Достал я заветный самогон, разложили мы закусь и начали гулять дальше. Гуляем, фактически торчим, балдея, наслаждаемся битвой жизни, и гром ударов нас не пугает. Выпива-

производим, музыку включили. Правда, у меня там только битловский «Хад дэй'з найт» был, но ни хрена страшного: нам он с детства нравится, а Симпатии — до фени: ей что «Битлы», что Зыкина, вот мы его туда-сюда и гоняли.

Стали танцевать. Но мадама-то в наличии одна — так пляжный мальчик наш, на правах хозяина мадамы, первый, а потом и нам разрешил. И понеслось: один танцует — двое выпивают, затем смена — и так далее.

— А Симпатия?

— И ей отдохнуть давали. Посадим, нальем, накатит — и снова вперед. Жалко только, на «Хад дэй'з найте» почти все песни быстрые, а у нас же вроде как интим. Но ничего, и под быстрые медленно танцевали, дружески, как я это называю, прижимаясь телами. Нормально. И вот...

И вот (с Симпатией как раз Женька кружился) кадр этот, наш лучший дружок-то, мне и говорит.

— Слышь, — говорит. — Ну, это, мы за каким сюда шли-то?

— Лично мы, — отвечаю, — за таким сюда шли-то, что нам приятно находиться в обществе друг друга, вести умственно-познавательные беседы и т.д. и т.п. А ежели лично вы зачем-то еще сюда шли, то скатертью дорога!

Открыто возражать он, конечно, не стал — гараж-то мой. Однако вкрадчиво эдак зашелестел:

— Да хватит тебе, Вячеслав Владимирович, гнать! Всё это правильно, всё верно, вот только... Вот только Симпатию-то, между прочим, я привел! Я на пляже ее отыскал, у меня к ней морально-нравственный интерес физического свойства имеется!

Ну, тут даже я не сумел возразить: Симпатия-то и в самом деле фактически его, хотя жилплощадь, самогон и «Хад дэй'з найт»-то мои. И я ему прямо в лоб забубенил: давай-ка, мол, заключим пакт Риббентропа-Молотова — ты первый производишь с ней, так сказать, половой акт любви, а потом...

— Никаких «потом»! — нагло заявляет, сволочь. — Никаких «потом»!

И мое терпение лопнуло.

— Ах так? — говорю. — Так? Ну и хорошо! Ну и ладно! Ну и забирай-ка прямо сейчас свою долбаную Симпатию и катитесь-ка вы к чёртовой матери!

И фофан этот менжанул. Не, ну действительно, ежели я их распопру — это ж как изгнание из рая получится, катастрофа! Поморщился-поморщился, попытел-попытел — и буркнул что-то типа «там видно будет».

А в этот момент «Энтайм эт олл»² как раз закончилась; Женька с Симпатией вернулись к столу, мы хлопнули еще по одной, и я Женьке на ногу наступаю и говорю:

— Слышь, давай-ка поднимемся. Мне там хреновину одну перенести надо...

Вылезли из подвала, я люк чудок прикрыл, чтоб ориентироваться, и мы располжались рядком: Женька на матрасе поролоновом, а я в кресле. Женька скоро закемарил, а я фактически как Виннету, на стрёме. Слышу: диван мой походный закрипел, охи-вздохи, «ты меня лю?» — «лю-лю»... А когда эта бодяга закончилась, я Женьку разбудил; мы покашляли, каблуками погремели и вниз полезли.

Эти уже снова за столом сидят, за ручки как детки малые держатся, такие очумелые чуть-чуть, одухотворенные и счастливые. Врезали мы еще по одной, и Симпатия со своим Ромео отправились танцевать.

Танцуют они, значит, танцуют, а я, когда Симпатия спиной ко мне оказывается, глаза начинаю страшные делать и беззвучно орать: «Ну ты чё? Ты чё, гад?!»

Он, скотина, сперва вроде как и внимания не обращает. Я уж совсем было опять

²Здесь и далее — «русифицированные» названия некоторых песен из альбома «A Hard Day's Night».

веру в него потерял, но вдруг гляжу: с грустью, конечно, однако подмаргивает и кивает: ладно, мол...

«Телл ми уай» кончилась, и тут Генка Женьке говорит:

— Ох, чё-то пивка захотелось. Да и закуси уже нет — идем купим.

И — пошли. В смысле — полезли. Слышу: дверь гаража открыли, потом закрыли — и тишина...

Кассета в пятый или шестой раз закончилась. Я перемотал, опять включил и снова сажусь, но теперь поближе к Симпатии. Наливаю, производим выпивание — гляжу: Симпатия уже хороша, но, слышь, держится, здорова же, однако, лакать.

И вот я начинаю нести какую-то ахинею: о смысле жизни, о любви, о дружбе, равенстве и братстве всех народов на земле. Но сперва — в общем и целом, в рамках марксистско-ленинской философии, этики и эстетики, в масштабах всего прогрессивного, как я это называю, человечества, а потом понемногу, понемногу перехожу к данному конкретному случаю.

— А знаешь ли ты, уважаемая, — перехожу, — что мы все трое друзья детства?

— Да, — кивает Симпатия, а глазёнки мутные-мутные.

— Мы же фактически как братья, только разноутробные, — развиваю я тему дальше. — Едва от материнских грудей оторвались, сразу и познакомились... — И начинаю, словно удав, правой рукой помаленьку ее обвивать. — ...И дошколятами сопливыми вместе бегали, и в индейцев играли, и в одном замечательном вокально-инструментальном ансамбле с поэтическим названием «Горячий иней» лабали. Нет, ты представляешь?!

— Да-а, — мычит Симпатия и на руку мою покамест не реагирует.

— Эх-ма, — по-стариковски вздыхаю. — Такие-то вот дела, милая... — И опять ближе к теме: — А ты знаешь, что у братьев промеж собой никаких секретов и они обязаны всем делиться?

— Да.

— У них и вкусы одинаковые, и друзья общие, да?

— Да.

— И подруги тоже, да?

— Нет!

Я аж подскочил:

— Что — «нет»?!

А Симпатия глазами — луп-луп.

— П...подруги — нет! — Твёрдо и убежденно.

— Да почему же?! — горестно воскликнул я.

— П-потому... Потому что это... это нехорошо, — упрямо выдавила она, но руку мою убирать, однако, не спешила, что в результате ее и сгубило.

Нет-нет, я вовсе не собираюсь вдаваться в какие-то пошлые детали и мерзопакостные подробности. Скажу лишь, что в конце концов, товарищ, всё разрешилось к взаимному удовлетворению сторон.

Ну а потом мы снова уселись за стол, снова выпили и опять принялись задумчиво танцевать под «Хад дэй'з найт» и дожидаться дружанов с пивом.

Они скоро пришли, принесли пиво, рыбу, хлеб и колбасу, и наслажденье битвой жизни продолжилось. Повелитель Симпатии одними глазами поинтересовался: «Ну как?» Я, тоже одними, ответил и начал косить на Женьку. Эгоист наш сперва делал вид, что не замечает, потом стал сердито хмуриться, кусая свой, как я это называю, длинный ус, но наконец смиловился: ладно, мол.

Давно бы так. Я почесал затылок и озабоченно-озабоченно говорю:

— Слышь, Ген, мне там хреновину одну тяжелую...

Сидим, слушаем. Но снизу только: «бу-бу-бу» — «бу-бу-бу», «бу-бу-бу» — «бу-бу-бу»... Ни фига интересного. Бормочут чего-то, потом гитара запиликала...

В общем, через полчаса я не выдержал: плюнул и полез в подвал. Эти сидят себе рядышком как голуби мира и трогательно этак воркуют «за жизнь». Я демонстративно врубил «Хад дэй'з найт» на полную громкость и, когда завсегдаятай пляжа уволок Симпатию вальсировать под «Кэн'т бай ми лов», набросился на Женьку.

— Ты что?! — шиплю. — Да как тебе только не стыдно! Ты же фактически наш дружбан! Времени и так в обрез, каждая минутка на счету, на вес золота, а ты нет чтобы произвести половой акт любви, сопли размазываешь!

— Да пошел ты! — отвечает. — Я же слышал, как вы наверху пыхтели. И вообще, вот так, при посторонних, я не могу!

— А я могу?! — изумился я. — Я тоже не могу, и Гена не может, но есть ведь такое волшебное слово — «надо». И потом, какие же мы посторонние? Забыл Елизавету Никаноровну?

— А вот вы уматывайте, — заявляет. — Тогда и...

— «Уматывайте»?! — Меня от обиды аж затрясло. — Да как же это так, дорогой товарищ, — «уматывайте»? Я же, между прочим, здесь хозяин, а Гена — повелитель Симпатии, она за ним притащилась. Выходит, за крышу над головой мы фактически должны благодарить меня, а за наше простое женское счастье — его. А ты вместо благодарности — «уматывайте»!..

В запасе у меня было еще достаточно справедливых и гневных слов, но тут вернулись Генка с Симпатией, и я заткнулся. А минут через девять Генка снова начал делать мне страшные глаза.

Я вздохнул и ткнул Женьку локтем:

— Пойдем, мне там хреновину...

Примерно через час Генка разбудил нас. Они с Симпатией уже вылезли из подвала оба, и теперь Симпатия, не очень твердо держась на ногах, подправляла, так сказать, макияж и подтягивала трусы. Когда подправила и подтянула, мы доели колбасу, допили остатки пива и вышли на свет божий...

Вячеслав Владимирович на мгновение задумался, а потом тряхнул серебрястой головой:

— Вот ты всё — «друзья, друзья», а знаешь, чё этот «друг» отмочил? Он сказал: «Нам с Женькой до дому далеко, а тебе — рядом и делать один хрен нечего». — И аллес. И ушли! Это, по-твоему, как, а?

Из политесу я дипломатично протянул:

— Ну-у-у, действительно...

— Зашибись, да? — фыркнул Вячеслав Владимирович. — Ему, видите ли, есть чего делать, а мне — нечего! Трудяга, блин! Вот гнида!

...Домой я притащился замордованный и вроде уже и не пьяный, а только чумовой какой-то. Хранительница моего очага, естественно, в бога-мать, но я же фактически индеец: и огрызаться не стал, завернулся в одеяло и прямо на полу, как пауни в прерии, уснул...

Вячеслав Владимирович вдруг резко умолк и озадаченно потер лоб:

— Эй, слушай, а вообще-то к чему я всё это несу?

Я устало пожал плечами:

— Ну, вроде к вопросу о дружбе.

— Ага. Точно. «О дружбе». Так вот, захожу через неделю к этому... другу. Как человек зашел: с его хранительницей очага полюбезничал, детям чё-то хорошее сказал. Но гляжу: рожу, зараза, на километр воротит! Я — «Гена-Гена», а он только фыркает, словно я не лучший дружбан детства и художественный руководитель, а какая-нибудь тварь подзаборная. Когда на улицу вышли, я — р-раз его за грудки.

— Это что, — спрашиваю, — такое означает?! Что же это такое, Геннадий Митрофанович, значит?

А он вдруг как засопит, да как запыхтит — ну вылитый Тачунка-Витка — и с неимоверным презрением отвечает.

— Я, — отвечает, — эту Симпатию, может, для себя только берег. Я, может, ее целную неделю охаживал, очаровывал и лелеял. А ты... Ты надругался над нашей чистой любовью и подло овладел Девушкой Моей Мечты, воспользовавшись тем, что мне выпить еще захотелось! И хоть ты и друг детства и художественный руководитель, но коль ты растоптал наши светлые и ясные чувства, то иди-ка к такой-то матери и чтоб больше ко мне ни ногой!

И веришь, он меня этим просто потряс. Я долго стоял потрясенный, а потом только горько улыбнулся, как человек, вмиг напрочь лишившийся всех своих идеалов, и тихо и интеллигентно сказал. Я сказал:

— Ах, сука ты, сука! «Надругался и растоптал»? Да ни за что на свете не соглашусь я с подобной трактовкой случившегося. Во-первых, на моем месте так поступил бы каждый...

— Но ведь Женька-то не поступил! — вскинулся он.

Я грустно вздохнул:

— Ежели б мы вышли из гаража, и Евгений поступил бы как все нормальные люди. Но суть даже не в этом, а в том, что все мы охрененные дружбаны детства и я просто не думал, что такая незатейливая мелочь может стать причиной разрыва наших более чем третьековых дипломатических взаимоотношений! Но коли так... коль так... Да пошел ты, — говорю, — жлобья проклятый! — Величественно, как фараон, махнул рукой, повернулся и скрылся за горизонтом вечности.

Вот... — скорбно уронил голову Вячеслав Владимирович. — Вот. А ты, идеалист хренов, всё — «как молоды мы были», «друзья, прекрасен наш союз»!..

Я перебил:

— погоди, но, насколько я понимаю, в конечном итоге ты вернулся все же из-за своего горизонта вечности?

Вячеслав Владимирович поднял голову:

— Я — «вернулся»? Да он сам через неделю позвонил и спрашивает:

— Вячеслав Владимирович, у тебя самогон есть?

— Ну допустим, есть, — отвечаю я ледяным тоном. — Но вам-то какое, гражданин, до этого дело?

— Да слышь, — шепчет. — Тут у меня, понимаешь, две Симпатии...

— Ясно! — рассмеялся я. — Значит, вы остались все-таки обалденными дружбанами детства и гармоничными единомышленниками?

Вячеслав Владимирович вяло пожал плечами:

— Ну-у, в принципе, можно выразиться и так, но...

— Но, как говорит наш директор, дело не в этом, — кивнул я и поднял стакан. — Ладно, за что пьем?

Вячеслав Владимирович с укоризной посмотрел на меня как на идиота:

— За что? Конечно, за дружбу...

Едва мы успели поставить стаканы, дверь распахнулась и в кабинет стремительно вошла Лейла Шамсудиновна.

— Юрий Дмитрич! — Увидев гостя, осеклась: — Ой, извините!..

— Что вы-что вы! — Мы оба галантно вскочили, и я кукарекнул: — Разрешите представить: моя сотрудница, мой друг детства.

— Очень приятно. Лейла Шамсудиновна, — сказала Лейла Шамсудиновна.

— Приятно вдвойне, — щелкнул каблуками мягких тапочек Вячеслав Владимирович. — Гаврила Петрович.

Я посмотрел на него удивленно, а Лейла, по-моему, даже с явной жалостью.

— Вы что-то хотели? — спросил я.

Секунду она глядела на меня, а потом помотала головой:

— Нет, ничего... Я потом. — Повернулась и вышла.

Какое-то время мы оба молчали. Наконец Вячеслав Владимирович вздохнул:

— Хорошая мадама...

Я тоже вздохнул:

— Хорошая...

— Вы с ней... тово? — деловито поинтересовался он.

— Рехнулся?! — Возмущение мое было вполне искренним.

Он иезуитски прищурился:

— Не, а чё тут такого?

— Да ну тебя! — махнул я рукой. — Во-первых, она на пятнадцать лет младше,

во-вторых, там молодой муж «что-то типа «нового русского», а в-третьих...

— А в третьих, она тебе нравится, — перебил Вячеслав Владимирович.

— Нравится, — после некоторой паузы признался я, — но...

Он презрительно скривил тонкие губы.

— «Но»? Ну и что — «но»? Ну и что тогда, скажи мне, пожалуйста, — «но»?!

Я помрачнел.

— Но, как говорит наш директор, — дело не в этом...

*Может, я от темы отвлекаюсь —
Стиль такой пусть вас не испугает.
Я с эпохами, людьми перекликаюсь —
Знания границы раздвигают.*

ПОЛАГАЮ, ЧТО КОЛЬ УЖ РЕЧЬ снова зашла о директоре, то для более полной обрисовки сложившейся на данный момент в издательстве ситуации надо пояснить следующее. Ко времени описываемых событий директор наш Алексей Михайлович Бочаров находился в больнице. Врачи готовили его к очень сложной операции, а обязанности директора исполнял Валерий Макарович. И как же радостно, чёрт побери, он их исполнял!..

Для объяснения причин этой радости сделаю небольшое лирическое отступление. Лет пятнадцать назад Алексей Михайлович назначил Валерия Макаровича главным редактором, о чем впоследствии пожалел не раз и не два. Этот их многолетний симбиоз выглядел довольно странно, в том числе и благодаря тому, что едва ли не на следующий после своего назначения день Валерий Макарович начал подписывать Алексея Михайловича, несомненно мечтая в одно прекрасное утро занять его кресло.

Честно говоря, ни к чему расписывать здесь все перипетии этого их оригинального сотрудничества, хотя расписать и было что. Они то вместе выпивали, то жутко ругались на планерках и собраниях на глазах у всего коллектива. Потом опять мирились, выпивали — и опять ругались... Однако при всех своих несомненных гуманистических достоинствах и удивительном таланте часами толочь воду в ступе, ухитряясь не сказать при том ничего путного, Валерию Макаровичу до Алексея Михайловича было ой как далеко!

Обкомовский работник в прошлом, директор наш, коли уж вставал на дыбы, то делался просто неудержим и неодолим как цунами. Маленький, толстенный, с зычным, порой сбивающимся на самых высоких тонах на петушиный фальцет голосом, Алексей Михайлович так орал на Валерия Макаровича, что того, рослого и внешне солидного, этим ором в конечном итоге просто сдувало, сбивало, сметало и разносило в щепки, и он как испуганная нимфа в грот убежал на несколько дней в свой кабинетлизывать моральные раны.

К тому же и связи Алексея Михайловича были куда мощнее — раньше его дру-

зья сидели в обкомах и горкомах, а теперь — в администрациях и думах. Немногочисленными же друзьями... Точнее, не друзьями, а, скажем так, духовными собратями Валерия Макаровича была далеко не могучая кучка приятелей, с которыми он любил при случае порассуждать о вечном и бренном, о месте и миссии творца на Земле вообще, а также своем собственном месте в областной и мировой литературе в частности, ибо лет восемь назад сам вступил в Союз писателей, выпустив сборник повестей и рассказов.

Всё. Констатирую последний раз: директор уже почти месяц готовился к операции, а Валерий Макарович, похоже, почувал, что наступает его звездный час...

Вячеслав Владимирович ушел, однако только я собрался проанализировать свое умственное состояние на предмет работоспособности, появился другой гость — охранник фирмы, арендующей у нас помещение под офис, по имени Саша. Саша был хорошим малым лет двадцати шести-двадцати семи, плечистым, крепким и очень добрым и вежливым. Увы, убийственные чары огромных глаз Лейлы Шамсудиновны не пощадили и его, и долгое время Саша нудно доставал меня, чтобы я их познакомил.

Знаете, на каком-то определенном этапе жизни и творчества просьбы, а порой даже настоятельные требования знакомых мужского пола познакомить их с Лейлой Шамсудиновной превратились для меня в подлинный кошмар. Но что поделать — стиснув зубы, знакомил и ретировался, а потом выслушивал сердитые обвинения Лейлы в сводничестве.

Интересно, неужели она думала, что мне самому это нравилось? М-да, тут, наверно, присутствовала изрядная доля какого-то... ненормально-сладоэмоционального мазохизма, что ли? Я точно старался отгородиться от Лейлы Шамсудиновны частотоклом поклонников, который возводил собственными руками. Возводил — и злился. На кого? Да на себя, кого же кроме.

Ладно, пришел Саша, которого я уже познакомил с ней на прошлой неделе, и — новая просьба (нет, ну почему это, интересно, меня так любят дети, старики и дебилы?!). Теперь я, оказывается, должен спросить у Лейлы Шамсудиновны, как она к нему, Саше, относится. Нормально, да?

Я почти застонал:

— Слушай, Шурик, ну ты совсем уже! Вконец офонарел на своем ответственном посту? Спрашивай сам.

Он прерывисто выдохнул:

— Я стесняюсь... А вас она уважает, может, и ответит.

— Да что я, голубь почтовый?! — возмутился я, а Саша смущенно улыбнулся:

— Ну пожалуйста, ведь это же совершенно не трудно. А я сегодня даже специально в парикмахерскую ходил. — Он провел пятерней по торчащему дыбом светлорусому «ёжику». — Хорошо?

— Бесподбно! — буркнул я, и он обрадовался:

— Огромное спасибо! С меня причитается!.. — И не успел я рта раскрыть, как он испарился.

А я покурил еще минут пять, нервно думая про детей и дебилов, но кури не кури, а получается, что вроде как пообещал. Ничего не попишешь — встал и чуть нетвердой походкой направился в приемную.

Лейла Шамсудиновна словно сиротка (да все мы, бедненькие, без Алексея Михайловича в определенном смысле осиротели) что-то грустно печатала на сундукообразной «Ятрани». Ее длинные волосы волнами ниспадали на металлический корпус машинки, и она то и дело отбрасывала их назад. Услышав мои шаги, подняла голову:

— Юрий Дмитрич! А что же вы бросили своего гостя?

Я устало приземлился в мягкое кресло напротив.

— А никакого гостя уже и нет.

Лейла педантично допечатала до точки.

— Гаврила Петрович ушел?

— Кто-о?! — не сразу врубился я. — А-а, Гаврила... Да, ушел. Подул, знаете ли, восточный ветер, и он как Мэри Поппинс...

— Забавный человек этот ваш Гаврила Петрович, — негромко сказала она. — Правда?

— Правда. Очень забавный, — подтвердил я и с важным видом пояснил: — Когда-то он был верховным вождем шайеннов, а я воином пауни. В общем, в те времена мне от него порой здорово по мозгам доставалось. Слава богу, скальп уцелел, а иначе не сидеть бы мне сейчас с вами. А еще он был нашим художественным руководителем, но это уже, конечно, позже: «битломания», первые ВИА...

Она улыбнулась:

— И о чем вы с ним беседовали? О музыке?

Вспомнив, о чем, я глубоко вздохнул:

— Ну-у, и о музыке тоже... — Помолчал. — Послушайте, вообще-то я пришел сказать одну вещь... — И опять умолк.

Лейла Шамсудиновна прищурилась:

— Так говорите.

Я махнул рукой:

— Нет, погодите, не сказать, а спросить. Можно?

Лейла Шамсудиновна вдруг замерла, а потом медленно кивнула:

— Можно.

— Видите ли... Видите ли, дело в том, что один человек попросил меня узнать, как вы к нему относитесь.

Она рассмеялась:

— Гаврила Петрович?

Я хмыкнул:

— Да какой там Гаврила Петрович! Этот бы, будьте уверены, сам спросил, церемониться не стал бы. Нет, уважаемая, приходила ваша очередная жертва, охранник Саша, стриженный, только из парикмахерской, весь благоухает как магнолия и ввиду этого требует, чтобы вы сказали мне, нравится ли он вам. Хау!

— Действительно требует? — посерьезнела Лейла Шамсудиновна.

— С дубинкой к горлу, — подтвердил я и — ляпнул: — Пообещал мне за миссию бутылку.

— При любом ответе?

Я поморщился:

— Не в бровь, а в глаз. Сам боюсь пролететь.

— Вы, значит, уже берете магарычи? — Нет, теперь она не смеялась.

— Насильно суют, — проворчал я. — Ладно, так что скажете?

Сектор «с полчетвертого до шести» чуть сузился.

— Что и Елисею Парисычу. Пока еще я в некотором роде замужем.

— Но Александр вроде спрашивал не об этом.

— А это ответ и не ему.

— Да? А кому же?

— Никому! — нахмурилась Лейла Шамсудиновна.

Я встал.

— Понятно... — Хотя ни черта мне не было понятно. — Но что же все-таки передать вашему дыхателю?

— Что хотите, кроме глупостей.

— Ладно...

Шурик маялся в холле. Увидев меня, подскакал как молодой щенок:

— Ну? Что?

Я бодро подмигнул:

— Всё класс! Дуй!

— Куда? — остолбенел он.

— Как это — куда? Беги к ней, чудила! Ждет!..

Минут через пять Шурик медленно открыл дверь моего кабинета, и я с преувеличенным пафосом поинтересовался:

— Всё пучком?

Шурик растерянно хлопал глазами:

— Она... Она сказала, что вы, наверное, что-то перепутали...

— Что значит — перепутал?! — возмутился я. — Ничего не понимаю! Ох уж эти бабы! Сначала, видите ли, заявляют одно, а потом...

— Нет... — Губы его дрогнули. — Нет! А вы... вы обманули меня!.. — И хлопнул дверь.

М-да, спасибо, что не ударил...

Я решительно поднялся и решительно замаршировал в приемную. Лейла Шамсудинова стояла возле стола и перелистывала какие-то бумаги. Взгляд громадных глаз, устремленный на меня, был совсем не добрым.

А я...

А я приблизился к ней, положил руки ей на плечи и... поцеловал в губы. Потом — снова в губы... В щеку... В шею...

В себя пришел от звуков ее насмешливого голоса:

— Вы, Юрий Дмитриевич, с ума сошли?!

Я отшатнулся, как от удара.

— Ч-что?.. — Тупо кивнул: — Да-да, простите... Должно быть...

Всё, хватит работать! Заработался, трудяга хренов!..

Запер кабинет и, не попрощавшись ни с Лейлой Шамсудиновой, ни с кем-либо еще, ушел. Дурак! Ну, дурак!..

А впрочем...

Нет, всё равно дурак!

*Может, и верно ты парень удалый
И кругозор приобрёл без ошибки,
Только умишко, видать, захудалый,
Да маловато красивой улыбки...*

ДЕНЬ ИЛИ ДВА Я, можно сказать, только и делал, что работал. Причем работал честно, упорно, не покладая ни рук, ни ручки, ни мозгов, словно бичуя себя таким образом за время вынужденного простоя. Хотя чего греха таить, имелся в этом внезапном усердии и особый интерес.

А дело в том, что на меня откуда ни возьмись вдруг свалился как снег на голову некий весьма занятный тип. Звали его Александром Николаевичем, по фамилии — Маковкин, было ему годиков шестьдесят семь-шестьдесят восемь, а проживал он в Свекольном, маленькой деревушке, почти уже сросшейся своей околицей с северо-восточной окраиной нашего города.

Внешности Александр Николаевич был очень колоритной и примечательной: низенький как гриб, но жутко осанистый, с большими, страшно мудрыми глазами и просто-таки классической патриаршей бородой. Едва нарисовавшись на пороге кабинета, он картинно простер в моем направлении узловатую мозолистую длань и с пафосом трибуна пророкотал:

— Дмитрич? Ты — Дмитрич, да? Это, я был щас у вашего... как его... Преображенского, да? И он, это, послал мене к тебе!

А я мысленно послал и этого гнома с ликом Сократа, и самого Преображенского за такой подарочек далеко-далеко. В том, что дед — подарочек еще тот, я не усомнился ни на секунду: слишком уж хорошо знакомым был блеск клинического литературного безумия в его мудрых очах.

— М-м-м, — безо всякого энтузиазма поморщился я. — Ну, валяйте, выкладывайте, с чем, такэ скэ-эть, пожаловали. Вас как величать-то?

Чинно отрекомендовавшись и крепко пожав мне руку, Александр Николаевич присел в кресло и, нырнув в авоську, торжественно водрузил на стол внушительную стопу машинописных листов.

— Вот... стихи... — с трепетным придыханием молвил он. — И стихи, скажу те, Дмитрич, такая...

Теперь я мысленно уже не только посылал, а почти проклинал и Александра Николаевича, и Валерия Макаровича: отбиваться от подобных «творцов» — это... Коллеги поймут, а не коллеги — поверьте уж на слово.

— Да-да. Конечно. — Нервически подёргал щекой. — Ну давайте, давайте поглядим.

Пробежал для блезира глазами несколько страничек и покрывшись при этом вполне искренними мурашками ужаса, я как шулер новую колоду листанул рукопись веером.

Гость волнительно привстал:

— Ну?..

— А что — «ну»? — Я утомленно откинулся на спинку стула. — Что это такое?!

Александр Николаевич обиделся:

— Как что? Говорю ж — стихи!

— А почему без знаков препинания?

Поэт помрачнел:

— Да понимаешь, Дмитрич, ить не шибко я силён в запятых.

Я потянулся за сигаретами.

— А в точках тоже — «не шибко сильны»?

«Гриб» прищурился:

— Не, ты погодь, погодь, Дмитрич! А для чё ж тогда существуют всякие там редактора и корректора, а?

Меня снова передёрнуло.

— Думаете, чтоб точки с запятыми за вас ставить? Но ладно, это еще полбеда.

А вот, к примеру, размер?

Патриарх удивился:

— Какой размер?!

(У-у, гадство!)

— Такой! Стихи должны соответствовать определенному размеру.

Во взгляде Александра Николаевича сверкнул холодный булат.

— Да ты чё, Дмитрич, не видишь, все строчки почти одинаковые по длине? Ты возьми линейку, померяй!

(Ну, Преображенский, погоди!..)

— Да не сантиметрами же, Александр Николаич, поэзию меряют! Я о стихотворном размере! Ну смотрите сами — допустим, вот:

Высокий мир в нежной моей душе неоспорим
Правда в ней бывают разрывы столкновений
Мы дураки сами жизнь свою распутную творим
И в опошлении тогда умирает бедный гений...

— Ну? Это что такое? Какой здесь размер?

Маковкин барски развел руками:

— А ты на кой кляп тут сидишь, Дмитрич? Ты специалист, ты государство учило, деньги тратило — вот и делай этот самый размер.

От такой наглости я обалдел.

— Это я, выходит, должен его делать?!

Он кивнул:

— Ты, а кто же?

— И точки с запятыми мне ставить?!

— Тебе. И не придирайся больно уж. В стихах ведь главное что?

Я судорожно затынулся «Явой».

— И что же?

— Рифма, вот что! Я знаю, люди говорили. А с рифмой у мене полный ажур.

Гляди: «неоспорим» — «творим», «столкновений» — «гений». Нет, уж чё-чё, Дмитрич, а рифма... Смотри, смотри: «власти» — «страсти», «грёзы» — «слёзы», «оправданья» — «рыданья», «грести» — «обрести»...

Я швырнул окурок в открытое окно.

— Ну ладно, согласен, рифмы — ладно. А... смысл?

— Чево?! — изумился Маковкин.

— Ничего! Какой смысл в этой строфе? Лично мне не понятно.

Александр Николаевич уставился на меня как на больного:

— Да ты чё, Дмитрич?! Совсем сляпой? Я ж в этом куплете говорю про то, что умному человеку у нас о-о-ой как трудно в жизни приходиться.

— Да? Ну хорошо, а вот тут вы о чем говорите? — ткнул я пальцем наугад в другой «куплет».

— А тут мене беспокоит нравственность нашего общества! — сурово отрезал он. — А вот тут — экология. А вот тут...

— Ладно, — обреченно махнул я рукой. — Ну а где заканчивается одно и начинается другое, гм... стихотворение? Хоть бы звёздочки нарисовали.

Похоже, Александр Николаевич окончательно усомнился в моей профпригодности.

— Эх, Дмитрич-Дмитрич! Да ить каждая страничка и есть отдельный стих. Правда, дальше с десяток на другую страницу перелазит, но уж по смыслу сам отделишь. Там еще, кажись, и штуки три поэмы есть. Вот ты и...

— Я?! — взвился я. Оригинально, он что, всерьез воображает, что я возьмусь за обработку этого бреда? Да здесь никакая обработка и не поможет: бред, он и есть бред...

— Ты! — кивнул «гриб». — Ты, Дмитрич. Скажи тока, скока это будет стоить, — и с богом. Но уж не обдирай пенсионера. Детство у мене было тяжелое, отрочество и того тяжельше, ну а юность...

Но я его уже не слушал. Я уже прикидывал, сколько слупить за причёсывание этой белиберды. А ведь их тут, «стихов»-то, штук двести. (Понимаю, не очень меня это красит, но... В общем, не корите и не судите.)

— ...Ты, Дмитрич, стихи мои обделаю как положено, — продолжал меж тем Александр Николаевич, — а я их потом у вас напечатаю книжкой, за свой собственный счет.

— Да без проблем, — пожал я плечами. — Конечно, обделаю. Тридцатка стих — и будет вам и размер, и рифма.

— Э, рифма у мене уже есть! — с обидой напомнил поэт.

— А, ну да, — согласился я. — Короче, будет вам и белка, и свисток, и глубокий смысл. Даже запятые поставлю. Тыщу авансу — и вперед!

— Да ты погодь, Дмитрич! — заволновался Маковкин. — Деньги это ладно.

Ты... Ты главное скажи. Мои стихи, они... они принесут людям пользу? Скажут им о чем-то таком?.. Заставят задуматься над чем-то таким?.. — замысловато пошевелил он заскоруждыми пальцами. — А?

— Даже и не сомневайтесь, — заверил я. — Ваши стихи, Александр Николаич, людям принесут такую пользу, о таком скажут, над таким заставят задуматься... Э-э-эх!.. — И полез за новой сигаретой.

Глаза его под толстыми стеклами очков предательски повлажнели.

— Спасибо, дорогой... — Он достал кошелек и отсчитал десять сотенных бумажек. — Держи, дорогой... Ну... Ну и самое главное... Только честно, без брехни, ябрехню не люблю! Стихи у мене хорошие, а?

Если я и промедлил, то лишь какую-то долю мгновенья. Я максимально честно посмотрел в его влажные глаза и максимально искренне произнес:

— Хорошие... — Помолчал и еле слышно добавил: — Очень хорошие, Александр Николаевич...

*Жестокая игра вокруг велась
Рабов, вдруг изменить судьбу решивших,
И болью враз в сердцах отозвалась
Гигантский поворот тот всех свершивших.*

ТАК ВОТ ЭТИМ-ТО Я теперь усердно и занимался: подстригал, приглаживал и причесывал убийственные вирши г-на Маковкина. Да нет, ясно, что по большому счету ничего сделать с ними было просто невозможно априори: подстриженное, приглаженное и причесанное, дерьмо все равно останется дерьмом, как его ни стриги, гладь и чеши. Ну вот, для примера: допустим, строфа, которую я уже цитировал в оригинале, стала выглядеть так.

Высокий мир в душе неоспорим,
Хоть неизбежны взрывы столкновений.
Мы сами жизнь распутную творим —
И угасает опошлённый гений.

Понятно, да? Бред бредом и остался, но уже и вроде более живенько, верно? В общем, пыхтел я, занимаясь этим самым непотребством, то бишь, литообработкой, как вдруг внимание мое привлек шум в коридоре.

Решив передохнуть от поэзии и малость развеяться, я вышел из кабинета — в приемной беседовали, и явно на повышенных тонах.

«...Преображенский сказал!..»

«...Но почему именно я?..»

«...Валерий Макарович распорядился!..»

«...Но почему не на машине?..»

В диалоге участвовали двое: обыкновенно мягкий, однако же сейчас с жестковатым налетом официоза и ощущения значимости исполняемой миссии полубаритон Виктора Петровича прерывался звонким возмущенным то контральто, то сопрано Лейлы Шамсудиновны. Гм, не знаю, что уж там вещал Булков, но явно не слова страсти и нежности.

Я подошел к двери в приемную. Оппоненты стояли друг напротив друга, и редущая макушка заведующего торговым отделом плавала примерно на уровне груди Лейлы Шамсудиновны. Лицо ее было взволнованным, а огромные глаза метали молнии. По физиономии же Виктора Петровича блуждала хотя и не вполне четкая, но все же относительно начальственная полуулыбка-полугримаса: еще бы, ведь с возвышением своего пользователя мсье Булков тоже автоматически взгромоздился на ступеньку выше по феодальной лестнице издательства. Види-

мо, оттого-то он так осмелел и решительно отбросил в данный момент всё касающееся Лейлы Шамсудиновны личное, принеся его в угоду (или жертву) общественному.

— Что за народные волнения? — деланно-равнодушно изрек я, шагая через порог. — Что стряслось? — На Лейлу старался не смотреть.

Виктор Петрович насупился и поджал толстые губы: меня он, кажется, немного уважал, однако наверняка не любил.

— Валерий Макарович приказал, чтобы Лейла Шамсудиновна отвезла Алексею Михайловичу в больницу газеты, — веско промолвил Булков. (Директор просто жить не мог без свежей прессы, и до сего дня ее доставлял ему наш водитель и мой тезка Юра, по прозвищу Белочка.) — Валерий Макарович приказал, — с угрожающим нажимом повторил Виктор Петрович. — А она... А она... — И величественно умолк.

Всё стало ясно, и я (делать нечего) повернулся к Лейле. И мне волей-неволей пришлось на нее посмотреть. А посмотрев, я опять вспомнил, как поцеловал ее, хотя и то, что она после этого сказала, увы, вспомнил тоже.

— Нет, ну а в чем проблема-то? — преувеличенно бодро пожал я плечами. — Берите-ка, Лейла Шамсудиновна, машину — Юра вон от безделья совсем истомился, — и поезжайте в больницу.

— Так я же и... — начала было секретарша и осеклась. Она здорово растерялась, узрев недавнего пылкого обожателя в непривычной начальственно-неумолимой роли. Уй, какой интересный был сейчас Булков!

— Нет, Юра, — важно посмотрел на меня Виктор Петрович. — Нет! Валерий Макарович велел ехать на общественном транспорте! — Он едва не пустил «петушка». — Потому что надо экономить бензин, ясно?

— Ясно, — кивнул я. — Это да, экономия штука полезная. — И предложил: — Тогда пусть Юра и сгоняет на общественном, чего ж девушку посылать? Как-то не совсем по-мужски, не находите?

— Приказ Валерия Макаровича, — моментально подстраховался Булков, и на его чуть обвислых щеках проступили алые пятна. (Да, кстати, среди прочих фантастических персонажей моей книжки был некий обитатель области Чёрных Дыр — дырник Вольдемар, трусливое и подленькое аморфное существо, которое земляне дружески называли Бздуном. Знаете, не помню уже сейчас, что конкретно двигало тогда моей авторской фантазией при создании данного героя, однако после выхода книги человек пять спросили: а Бздун-Вольдемар — это не Виктор Петрович? Я удивился, перечитал тот рассказ и ужаснулся — господи!.. Вот вам и связь творчества с окружающей средой. А ведь абсолютно не хотел, ей-ей, не хотел!)

— ...Это приказ Валерия Макаровича! — Вольдемар Петрович попытался небрежно улыбнуться, но вышла какая-то невнятная судорога.

— Вы видите, Юрий Дмитрич... — В голосе Лейлы слышалась теперь просто детская беспомощность и обида, и я нахмурился:

— Вижу. Вижу... Ладно...

Я спустился этажом ниже к ребятам из газеты и минут через пять вернулся в приемную. Булков уже испарился, а Лейла засовывала в пакет толстую пачку газет. По-моему, она вот-вот готова была заплакать.

— Лейла Шамсудиновна, — буркнул я. — Это... Во дворе белая «Волга». Вас отвезут и привезут. — И, не дожидаясь ответа, пошел в кабинет.

Закрыв дверь, уселся за машинку и, титаническим усилием воли взяв себя в руки, вновь погрузился в волшебный мир железобетонных рифм и жутких мыслей и образов Александра Николаевича Маковкина...

Примерно через час в коридоре послышался стук каблучков. Лейла Шамсудиновна вошла и села на стул напротив. Какое-то время мы молча смотрели друг на друга; и вдруг она неожиданно звонко проговорила:

— А знаете, когда вы ушли, я чуть не разревелась. Ну, думаю, и этот... — Вздохнула: — Понимаете, дело не в том, что не на машине, а...

— Прекрасно понимаю, — кивнул я. — Дело, уважаемая, в том, что вы — секретарша Бочарова, который еще вернется ли в свое кресло, одному богу известно. А Преображенскому, как тот не раз заявлял, секретарша не нужна, уж по крайней мере — секретарша Бочарова. М-да-а, похоже, начинается занятный этап в жизни нашего славного издательства. Глядите, как некоторые товарищи зашевелились. Предвкушают скорую смену власти? А любая смена власти, Лейла Шамсудиновна, сопровождается чем? Отвечу как историк — чисткой рядов. Вот сегодня, судя по всему, и прозвенел первый звоночек... — Я протянул руку к пачке сигарет, сунул одну в зубы и, спохватившись, предложил: — Не желаете?

Лейла покачала головой:

— Я не курю, Юрий Дмитрич. Так, раз в год, в компании.

— Ну, двое это уже компания, — философски заметил я. — Просто вы, извините, переживаете, а сигарета успокаивает. Уж поверьте курильщику с почти тридцатилетним стажем... — И тут же мысленно обругал себя за дурацкое напоминание о нашей разнице в возрасте. Чёрт, да я курю уже ровно столько же, сколько ей лет!..

— А что у вас, Юрий Дмитрич?

— «Ява».

Она виновато улыбнулась:

— Да нет, спасибо. Может, я и покурила бы что-нибудь вроде «Парламента», а «Яву»... Нет, спасибо.

Наверное с минуту мы оба молчали. А потом Лейла, вдруг резко встав, шагнула к двери.

У порога она оглянулась. Снова пауза, и...

— Я правда очень благодарна вам, Юрий Дмитрич...

И не успел я рта раскрыть, как дверь захлопнулась, — и только по коридору удаляющийся стук легких, очень-очень легких каблучков...

*Пусть возгорится жаркой страстью лира,
Чтоб праведный напев душою ощутить
И чувствовать себя не каплей мира,
А целый мир в душе своей вместить!*

ВОЗМОЖНО, СКАЗАТЬ, ЧТО Я не спал всю ночь, будет некоторым преувеличением, но... Но — только некоторым. Уснул с великим трудом, а перед тем долго ворочался, гнал прочь всякие разные мысли.

Мысли о ком?

Да конечно же, о ней, о Лейле Шамсудиновне, о ком же еще?..

Понимаете, эти вроде бы и не очень значительные, но в то же время какие-то... знаковые, что ли, события последних дней абсолютно неожиданно приблизили меня к ней — приблизили настолько, что я (в не вполне вменяемом состоянии) умудрился даже ее поцеловать, получив в ответ (вполне заслуженный) ледяной душ: «Вы, Юрий Дмитрич, с ума сошли?..»

А ведь, похоже, если еще и не сошел, то, кажется, понемногу начал сходить. И определенные обстоятельства тому способствовали. Раньше я с Лейлой Шамсудиновной общался редко. Нет, виделись-то мы каждый день, однако разговаривали

далеко не каждый, у нее и без меня было с кем разговаривать. Но случилось же вот так, что Елисей Парисыч свалил в отпуск, а Виктор Петрович, по велению Валерия Макаровича, в миг единый лег под грозного шефа столь виртуозно, что, напрочь позабыв о своей недавней высокой и чистой любви (Шуба не в счет, Шуба — это быт), чуть ли не возглавил крестовый поход, провозглашенный Преображенским супротив секретарши Бочарова. Гм, да только ли супротив ее одной?

Ну, а я в этот, наверное, и впрямь непростой для, в общем-то, совсем еще девчонки момент оказался рядом, и...

Чёрт, но что — «и»?! Ну, чмокнул спяну. Ну, подогнал машину — подумаше, титаническое деяние во имя любви! Что еще? Ах да, наступал пинков бедному идиоту с зеркалом. Уж в самом деле — подвиги Геракла!..

Нет, но ведь подвиги не подвиги, а — задёргался! Задёргался, заволновался, занервничал. Спросите — а раньше? Ну да, получается, раньше вроде бы и не дёргался. Почему? Да потому, что относился ко всему достаточно реалистично. Вот представьте для примера: между вами и кем-то — стена. Пусть совсем тонкая и прозрачная, но — стена. То есть, глядеть гляди, можешь даже и поболтать, однако дотронуться — невозможно. Так и между мной и Лейлой до поры до времени была такая прозрачная стена, возведенная во многом моими же собственными руками. И вдруг стена эта, словно была она не из стекла, а из льда, кажется, стала таять, а я...

А я, кажется, испугался.

Чего?

Да всего!

И в первую очередь я испугался, что начнет рушиться мой прежний, уже давным-давно прибитый и укатанный асфальтоукладчиками и катками размеренных и монотонных десятилетий мир. Однако...

Однако я испугался и — что не начнет. Понимаете?

Мне кажется, в жизни любого мужчины обязательно, хоть раз, но встречается женщина — такая, из-за которых начинаются войны, которым посвящают книги, с которых пишут картины и которые в самом деле способны перевернуть мир человека. Так же и в жизни любой из женщин наверняка хоть однажды встретится мужчина, который смог бы начать во имя любимой войну, написать книгу или картину — и поднять ее тем на недосягаемую для остальных женщин высоту, но...

Но увы — т а к и х мужчин и т а к и х женщин мало, страшно мало. А главное... Главное, что им-то надо встретиться не с любой и не с любим, а — друг с другом. И вот только тогда обязательно случится о н о... То, что называется Настоящей Любовью.

И думаю, если т а к и е мужчины и женщины не встретятся, то просто не состоятся, не заявят о себе, не раскроются — ни первые, ни вторые.

И вы понимаете, до меня вдруг с ужасом — да-да, именно с ужасом! — начало доходить, что, кажется, Лейла — одна из т а к и х женщин... Таких, которые на самом деле сводят с ума героев и вдохновляют сильных, но — губят слабых... И даже не слабых, а просто — обыкновенных. Обыкновенным с ними не по пути, потому что обыкновенные ничего не понимают. Не понимают, к т о с ними рядом и не дадут понять этого им самим. А чувствуют ли сами те женщины, к т о они? Возможно. Но наверняка ощущение это в зародыше, и будет ли когда-нибудь оплодотворен этот зародыш, зависит от того, в с т р е т я т ли уже они или — н е в с т р е т я т...

И я...

Я — испугался.

Испугался того, что будет со мной, если немедленно не уйду с дороги Лейлы, однако еще больше — если уйду...

Если не уйду, со мной обязательно что-то и случится, а хочу ли я этого?

Но ведь если уйду, то со мной — не случится... Понимаете? А главное...

Главное — возможно, тогда не случусь я...

Слушайте! — но я же ведь никакой не герой! Я — самый обыкновенный, обремененный бытом и собакой человек. Рядовой редактор в рядовом издательстве самого что ни на есть рядового областного центра. Так зачем мне это? И — за что мне это? И вообще, что именно — «это»?!

И... кажется, я уснул.

И... кажется, даже периодически спал и видел какие-то жуткие сны.

А утром измученный и измочаленный, будто на мне всю ночь воду возили, кое-как выгулял своего Джона и точно в тумане поплелся на работу.

И если бы меня вдруг спросили: «Юрий Дмитрич, а чего ты вообще сейчас хочешь?», я бы ответил — не знаю.

Хотя конечно же, знал.

Прекрасно знал.

Знал, что хочу увидеть Лейлу Шамсудиновну.

Страшно хочу...

Ну, коль уж я невзначай помянул Джона и всё равно еду в маршрутке, то буквально два слова о нем. Джон — это дог. На диво неугомонный, трудноуправляемый и драчливый. Всё б ему играть да скакать! Но мне-то в результате этих игр весьма прилично доставалось по физиономии, и в самом что ни на есть буквальном смысле слова. Дважды он своим каменным носом, от переизбытка любви и жажды ласки, до крови рассекал мне бровь, неоднократно ставил фингалы под глазом, ну и наносил некоторые другие, менее значительные телесные повреждения.

Нет, но я-то, я почему брал дога? Да потому, что они, в основной своей массе, — серьезные, спокойные и солидные псы. Я тоже — человек вроде бы, в основной своей массе, достаточно спокойный и уравновешенный, — вот и мечтал, что мы с моей собакой будем важно гулять, оба такие спокойные, уравновешенные... Или (мечта номер два) — я творю за пишущей машинкой, где-то под потолком порхает муза, а у ног возлежит мой верный друг, спокойный, уравновешенный...

Чёрта рытого! «Творить» Джон мне просто не давал. Поэтому все двери в квартире пришлось снабдить шпингалетами и крючками, и только выпроводив это рыжее чудо в коридор и запершись изнутри, удавалось иной раз малость попечтаться. Но впрочем, не один Джон не шибко жаловал мои литературные потуги, считая сидение за машинкой пустой тратой времени. И потому... И потому, извините уж великодушно, Алексей Михайлович и Валерий ибн Макарович, постепенно я прилаhdился писать на работе — простите еще раз! — в служебное (ну а что уж тут поделаешь?) время. Хотя...

А хотя — чего я извиняюсь? Преображенский-то свою книгу, поди, тоже не на дому сочинял. А наши издательские машинистки ее раз пять перепечатывали, пока, видимо, автор не посчитал, что идеал достигнут. Помню, кстати, остановил он меня тогда в коридоре (сам я только-только со всякой мелочевкой понемногу публиковаться начал) и мэтровским тоном поинтересовался, сколько раз я переписываю свои вещи, пока не остановлюсь на окончательном варианте. Я пожал плечами. «Ну, — говорю, — сперва напишу черновик, потом выправлю его, а потом — печатаю уже начисто. Ну и еще раз, естественно, читаю, в поисках последних «блех»-то».

Валерий Макарович тонко усмехнулся: «А у меня, Юра, после этой книги два чемодана черновики осталось. Что на это скажешь?»

Господи, да я просто не знал, что на это сказать. Взял и ляпнул: «Так надо было сразу писать хорошо. Может, тогда столько черновики и не понадобилось бы».

Ну и представляете, насколько еще более теплыми сделались наши и без того исключительно душевные отношения.

Но ладно, к Джону это уже не относится. О нем, потому как подъезжаю, заключительная информация. Назвал я его в честь Леннона (я же жуткий битломан). И последнее, по секрету: среди героев романов, ожидающих нынче своей участи в московском издательстве, имеется и пёс. Так вот, монстр тот почти один в один списан с Джона. Его и звать Джон, только он не дог, а кавказец. Но породу я изменил из чисто сюжетных соображений, а во всем остальном — это он, вылитый. Так что ежели когда-нибудь те рукописи увидят свет и попадут вам в руки, вы найдете там и Джона. Всё! О нем покамест всё, потому что маршрутка притормозила...

Маршрутка притормозила, и я вышел.

Вышел — и смятенно уставился на вереницу обрамляющих остановку киосков.

Спросите — почему смятенно?

А неужели не догадываетесь?

Э-э-эх, да потому, уважаемые зрители, что полночи и две трети утра я опять размышлял над одним-единственным, но уж теперь воистину гамлетовским вопросом: купить или не купить?..

Что купить? — спросите?

Кому купить? — спросите?

Да будто сами не знаете!

«Я не курю, Юрий Дмитрич. Так, раз в год, в компании... Может, я и покурила бы что-нибудь вроде «Парламента», а «Яву»... Нет, спасибо...»

Вот так вот!

Вот так...

И я стоял теперь как идиот и ломал голову: купить или не купить?

И правда, идиот, скажете. Ну чего тут ломать? Хочешь — купи, не хочешь — не покупай. Делов-то!

Эх, граждане-граждане... Не знаю, возможно, я что-то там чересчур уж накручивал и усложнял, однако для меня вопрос был отнюдь не простым. Вы понимаете, кабы Лейла Шамсудиновна сказала: «Я, Юрий Дмитрич, покурила бы «Приму», — господи, да какой разговор! Ну, решил вот, знаете ли, сделать приятное товарищу по производству, как выражается Гав... тьфу, Вячеслав Владимирович, — купил пачку «Примы», и о'кей. Никаких тебе контекстов, никаких тебе подтекстов, на, товарищ, кури на здоровье!

Но «Парламент»-то...

Но «Парламент»-то стоит как двадцать «Прим», и это не к тому, что денег жалко, а к тому, что...

Нет, ну вы понимаете. Вы всё прекрасно понимаете. Я ведь и так уже подошел к Лейле настолько близко... непозволительно близко, и она и так уже, коли не слепая, должна видеть, что со мною творится. Но...

Но мне еще не поздно остановиться. И, если не куплю этот проклятый «Парламент», возможно, я еще сумею остановиться. Забьюсь как мышь в кабинет и буду шлифовать себе помаленьку поэтические перлы маэстро Маковкина и носу никому не высовывать. Ни в коем разе! Что бы там, в большом мире, ни происходило. Даже если бы Валерий Макарович с Виктором Петровичем надумали отправить Лейлу в командировку в Москву пешком!

А вот если я куплю «Парламент»...

Да. Если куплю «Парламент», это будет всё равно что сказать: «Я люблю вас, Лейла Шамсудиновна».

Дьявол! Но нужно ли мне это?! (Что это не нужно ей, — понятно и ежу. См. предыдущие серии: насчет возраста, мужа и т.д. и т.п.) Д-дьявол!..

Через пять минут я на ватных ногах шагнул через порог приемной.

Лейла уже сидела за столом, склонившись над журналом не то входящей, не то исходящей корреспонденции, и что-то в него записывала.

Она подняла голову. Взгляд ее был каким-то странным. А впрочем, наверное, это моя физиономия была какой-то странной, отсюда и соответствующий ее взгляд.

И вдруг меня бросило в жар.

А потом вдруг в холод.

Губы ее шевельнулись:

— Доброе утро, Юрий Дмитрич.

Я едва ли не с металлическим скрежетом разлепил свои.

— Д-доброе... Лейла Шамсудиновна...

И, чуть не оглохший вмиг от ударов-взрывов собственного бешеного пульса, — в висках, в ушах, в груди, — медленно подошел к столу:

— Вот... — И положил на журнал сине-белую пачку.

Ее громадные глаза стали еще громаднее, и, по-моему, в них промелькнул испуг.

— Что это, Юрий Дмитрич?!

Я дурачки пожал плечами:

— Ничего особенного. Сигареты.

— Мне?!

— Вам, — кивнул я, покрываясь колючими мурашками.

— Но зачем?!

Я снова пожал плечами. Уже не просто дурачки, а сверхдурачки, и хриплым басом прокаркал:

— Ну-у-у, не знаю... Так... Покурите когда-нибудь... в компании...

Понятия не имею, чем бы закончилась эта кошмарная сцена, но в приемную кто-то вошел и что-то спросил у Лейлы. И, малодушно воспользовавшись сменой декораций, я позорно сбежал. В свой кабинет. И там...

И там, как в спасательный круг, мертвой хваткой вцепился в рукопись бедного Александра Николаевича Маковкина, и неожиданно издал какой-то совершенно умопомрачительный, зверский, утробный рык.

Ну, всё! Коли уж начал рычать...

Да, это...

И — снова рыкнул.

Теперь уже на себя.

И — более или менее членораздельно:

— Работать, придурок! Р-р-р а б о т а т ь!..

Хотя какая, к лешему, работа! Чего мне сейчас жутко хотелось, так это напиться или же написать заявление на увольнение.

Но я не сделал ни того, ни другого.

А ты, редактор, молодчина всё же!

Суждения твои неординарны.

Ты будь со мною, автором, построже,

Чтоб были нам потомки благодарны.

Я НЕ СДЕЛАЛ НИ ТОГО и ни другого, зато жутко прилежно бросился выполнять собственную установку на самоизоляция от внешнего мира, и, разумеется, прежде всего — от Лейлы Шамсудиновны.

Я и впрямь сидел в кабинете тихо как мышь и усердно занимался стихами Маковкина, сведя все внешнеполитические акты и сношения до максимального минимума (во завернул!).

Нет, ну а с кем, позволяйте полюбопытствовать, было сношаться-то? Валерий Макарович зреть меня пред своими темными очами не жаждал, а уж я его — тем более. Виктор Петрович, хоть я и никогда не питал на его счет особых иллюзий, в свете последних антилейлышамсудиновских событий совсем уж опарафинился. Елисей Парисыч в отпуске, и слава богу: не хватало мне еще его ревнивого сопения, взъерошенных поз и воинственных взоров. Ну а основная женская масса — она и есть «основная женская масса»: утром — «здрасьте», вечером — «до свиданья». Вот и все контакты.

Нет, оставалась, конечно, еще и сама виновница моего затворничества, но два дня я мужественно крепился и пробегал мимо приемной абсолютно деловым галопом. Нет, по утрам-то, естественно, здоровался, однако, поскольку засиживаться стал чуть ли не дотемна, прощаться эти два дня мы не прощались. И Лейла Шамсудиновна заходить перестала тоже.

Но на третий день табу, наложенное мною на посещение приемной и ее обитательницы, оказалось нарушено по не зависящим от меня причинам. Крадясь где-то поблизости, я вдруг услышал доносящийся из приемной глас еще одной нашей редактрисы, Лидии Ивановны Кузнецовой. И глас сей рек:

— Юрий Дмитриевич, можно вас на минуточку?..

Да нет, пожалуй, когда я эдак небрежно упомянул вскользь об «основной женской массе», то малость погорячился, потому что кого-кого, но уж Лидию Ивановну относить к «массе», право, не стоило. Уж кто-кто, а эта дама, бесспорно, обладала весьма ярко выраженной индивидуальностью.

Несокрушимая истина: чужая душа — потемки, однако Лидия Ивановна, похоже, и в собственной плутала порой ого-го как. Допустим, вчера она была железобетонным парторгом, а сегодня взяла вдруг да и обернулась полуигривой полусветской полульвицей. Ну а дальше — одному богу известно, хотя скорее, всё же снова парторгом. (Это я не про коммунизм, это у меня собственная классификация психотипов такая: «человек-парторг», «человек-сержант», «человек-спортсмен» и т.д.) А еще она жутко любила входить в образ деловой женщины, борца за справедливость и главного специалиста по всем-всем издательским вопросам. Так любила, что частенько забывала либо же попросту не знала, как из него, этого образа, выйти. Ну и прибавьте многочисленные комплексы — в первую очередь, полнотенности и неполнотенности одновременно, — и возможно, вы хоть чуть представите себе эту мою коллегу. Кстати, на почве всезнайства она не раз схлестывалась с преподабным Валерием Макаровичем: ведь по идее-то, главным специалистом по всем вопросам был он и никто другой.

Но впрочем, ну их обоих, ладно? Добавлю только, что мадам Кузнецова еще и любила порой немножко (а порой и множко) побыть провокатором. И вот ее-то зов и донесся до меня сейчас из приемной.

— Юрий Дмитриевич, можно вас на минуточку?

Я выдохнул как кашалот и обреченно пересек зримую границу порога и незримо своего обета. И зачем же, интересно, меня кличут?

— Посмотрите, Юрий Дмитриевич! — Кузнецова держала в руках фотографии: Лейла на берегу Чёрного моря. — Нет, вы только посмотрите, какая у нас Лейла Шамсудиновна красивая! Да смотрите-смотрите!

От меня требовали беспрекословного подтверждения, но я лишь витиевато пожал плечами: мол, ну-у-у... Сам же с вежливым вниманием взирал на фото, избегая перевести взгляд на сидящий за столом оригинал.

— Нет, вы видите, видите, Юрий Дмитриевич? — звонко воскликнула Лидия Ивановна.

Я кротко кивнул:

— Вижу.

— И что скажете?

— Ну что тут скажешь? — выдал наконец. — Конечно... Разумеется... — И замыслил остороженько ретироваться, однако оказывается, сие была только прелюдия.

Сложив фотографии в кучку и сунув их Лейле, Лидия Ивановна вновь оборотила свой лик ко мне.

— Юрий Дмитриевич! — повысила голос. — Я считаю, что кроме книг мы должны осваивать выпуск и другой печатной продукции. Согласны?

— Н-ну? — снова тупо кивнул я.

— Спросите, какой? Да хотя бы настенных календарей! — А что? Затраты относительно небольшие, а рентабельность очень высокая...

(Я смотрел на нее с тоскливой учтивостью и уныло думал: «Чтоб ты провалилась со своей рентабельностью!»)

— ...Фотографа мы найдем. Хорошего найдем! — вещала меж тем Лидия Ивановна, энергично жестикулируя, как когда-то на партсобраниях. — Ну а модель... — Торжественно развернула свой корпус к Лейле Шамсудиновне: — Модель у нас уже есть, и какая! Супер-модель! Надеюсь, Юрий Дмитриевич, вы не будете отрицать, что Лейлочка просто прелесть?

Я судорожно сглотнул.

— Н-надеюсь... Не буду...

— Вот и прекрасно! А Лейла, надеюсь, не потребует слишком больших гоноров за фотосессию. Ведь правда же, Лейлочка? Не потребуете?

Лейла Шамсудиновна медленно кивнула:

— Правда же... Не потребую...

— Вас надо снимать на лоне природы, — заявила Лидия Ивановна. — И лучше у воды. И лучше в купальнике, у вас такая фигура! А еще лучше...

— Без купальника? — подняла бровь Лейла Шамсудиновна.

— Конечно! — всплеснула руками Кузнецова. — Конечно, лучше! Да такой календарь имел бы потрясающий успех. — И — мгновенный «укол зонтиком»: — А вы, Юрий Дмитриевич, стали бы его... гм... редактором?

Я слегка поклонился:

— Счел бы за честь, да вот только... Да вот только боюсь, что, согласно Закону о печати, за производство изобразительной продукции эротического содержания уж как минимум «эндэс»-то с нас счешут в два счета.

Лидия Ивановна серьезно согласилась:

— М-да-а, действительно. М-м-м, тут надо как следует подумать...

Не знаю, раскусила ли уже Лейла Шамсудиновна за недолгое, в общем-то, время работы в издательстве Кузнецову и привыкла ли к ее штучкам. Надеюсь, что и раскусила, и привыкла. А я... Мне и правда очень хотелось побыстрее свалить из приемной. Мне стало вдруг тоскливо — так тоскливо, хоть волком вой. И — неудобно. И — стыдно. Какая-то невнятная смесь апатии, хандры и тошноты. Да-да, тошноты, потому что от мудрых речей Лидии Ивановны меня едва не замутило. И тут...

— Дмитрич! — раздался сзади бравый и зычный клич. — Дмитрич!.. — И ей-богу, клич этот прозвучал как сигнальный рог спешащего мне на помощь Засадного полка воеводы Бобро... то есть, воеводы Маковкина. И я мгновенно обернулся и почти радостно бросился в объятия милейшего Александра Николаевича. Не знаю, кто как, но я лично из крылатого выражения «между Сциллой и Харибдой» выбрал бы Сциллу: все же хоть какой-то шанс уцелеть. И я лично, в общем-то, ее и выбрал. Нет-нет, Харибда — это не о Лейле Шамсудиновне, упаси господь! — и даже не о Кузнецовой, а обо всей ситуации в целом. Короче, не мудр-

ствуя лукаво, я почти упал на грудь поэта и с облегчением чуть ли не бегом повлек его в свой кабинет.

Правда, может, не очень красиво было оставлять Лейлу наедине с Ха... Лидией Ивановной, но ничего: до меня-то они уже беседовали, и к тому же тошно было сейчас не Лейле Шамсудиновне, а мне, и посему срочно спасать надо было не ее, а себя. Пусть обсуждают там дальше свои календари — «эротические — не эротические»...
Пусть!

...Старательно шевеля губами, Маковкин читал отредактированные мною вирши, а я искоса наблюдал за выражением его мудрого лица.

Не скажу, что сильно уж беспокоился, понравится ему или нет, однако «клиенты»-то попадают разные. Одни — и члены они Союза писателей, и «опытные», «старейшие», а только заикнешься о чем-нибудь типа: «Вот тут у вас, на мой взгляд...», — сразу машут руками: «Юрий Дмитрич, дорогой, как считаешь нужным, так и правь!» Зато иные — нули полные, графоманы — пробы ставить негде, а нос дерут: и с этим они не согласны, и с тем. Пока докажешь, что «чу» и «шу» пишется не через «ю», офонареешь! Нет, Маковкин-то, вы уже поняли, был парнишкой не больно привередливым, и тем не менее...

Он отложил последний из листков, снял очки и, одарив меня совершенно равнодушным взглядом, полез за своей неизменной «Примой».

— Ну? — Я чуть поёрзал на стуле.

Александр Николаевич индифферентно дёрнул плечиком:

— А чё «ну», Дмитрич? А?

Я удивился:

— Что значит — «чё»?! Спрашиваю — понравилось? Нормально?

Маковкин подумал и дёрнул другим плечиком:

— Не, ну а чё — «понравилось»? Там же, ить, всё, чё было и раньше. Всё про то же, что и у мене.

Я слегка обиделся.

— Понятно, про то же, да не совсем так, Александр Николаич! Вот, к примеру, у вас как, гляньте:

Я еще пока не весь исписался
И пока еще мне не грозит маразм забвенья
С мудрой свежестью ума я как был так и остался
И как и всегда не изменяю свои мненья.

Маковкин веско подтвердил:

— Ага, не изменяю.

— Ну и не изменяйте!..

(Спокойствие, только спокойствие!)

— Так у вас было раньше, Александр Николаевич, до правки, — после некоторой паузы вежливо проговорил я. — А теперь стало вот как, сравните:

Я не весь пока что исписался,
Не грозит еще маразм забвенья.
Мудрой свежести ума как был остался
И как прежде не меняю свои мненья.

Сравните! Сравнили?

— Ну сравнил. — Он снисходительно хмыкнул: — Ты, Дмитрич, не забивай бошку ни себе, ни людям. И тут, и там по сути одно: про то, что я не исписался, — то есть, еще о многом-всяком поведаю читателю, — и про то, что мене не скоро забудят.

Я вздохнул:

— Забудят — это где «не грозит еще маразм забвенья»?

Он холодно кивнул:

— Ага. Именно там, где «не грозит». Так что уж извини, Дмитрич, но я чей-то большой разницы не вижу.

— Ну и не видите, — буркнул я и невесело подумал: «Не потребовал бы только назад аван, гад!»

Он не потребовал. Мало того, он заявил, что всё понимает, что и у Пушкина небось были редакторá. Потом начал разглагольствовать о месте поэта в рабочем строю, а следом, практически без перехода, ругать руководство страны, да с такими виртуозными матерными вкраплениями, что я даже позавидовал: мне так не научиться никогда. А потом...

А потом дверь вдруг слегка приоткрылась, и я увидел Лейлу. Она несколько секунд молча смотрела на меня, а после так же тихо закрыла дверь. Но мне-то, мне по ее лицу всё было ясно: огромные и слегка повлажневшие глаза Лейлы Шамсудиновны робко-робко просили о помощи.

— Извините, Александр Николаич, на секунду!.. — Едва не опрокинув стул, я рванул в коридор.

Лейла была уже возле приемной, а рядом с ней важно пританцовывал на цыпочках Булков. Увидев меня, он молодецкато напыжился и довольно громко प्रदेशебезжал уже, честно говоря, не слишком оригинальные тезисы:

— Валерий Макарович... Газеты директору... Без машины... Одна...

Я подошел:

— Еще разок, Виктор Петрович. Для опоздавших, на «бис».

Булков покраснел, и глазки его воровато забегали по сторонам. Конечно, меня он немножко побаивался, но тут — невелика честь: в той или иной степени экс-заведующий художественной и детской литературой побаивался всех кроме разве что уборщицы тети Дуси. Он и Лейлу-то Шамсудиновну, хотя еще недавно и беззаветно любил, тоже побаивался. Однако же главным пугалом для Булкова, естественно, являлся Валерий Макарович, и потому, выступая герольдом и рупором великих идей и помыслов последнего, все свои прочие страхи Виктор Петрович героическим усилием воли засовывал в самые потаенные и интимные места души и тела и проявлял, как, например, сейчас, поистине чудеса храбрости и отваги.

Повернув ко мне побагровевшее лицо, он мужественно пропищал:

— Да, Юрий Дмитриевич! Да! Повторяю! Валерий Макарович приказал, чтобы Лейла Шамсудиновна после обеда снова отвезла газеты в больницу Алексею Михайловичу. Вот так! Вам ясно?

Я простодушно улыбнулся:

— Да ясно. Сделаем!

Кадык Виктора Петровича мелко завибрировал.

— Нет, Юрий Дмитриевич! Нет! Валерий Макарович распорядился, чтобы Лейла Шамсудиновна ехала одна. Одна! И не на машине! (В обычных условиях годящийся мне в отцы Вольдемар Петрович обращался ко мне без отчества и на «ты».) Не на машине! Вы поняли, Юрий Дмитриевич?!

— Угу. — Я улыбнулся еще простодушнее и, чуть наклонившись к маленькому герою, тихо, но четко произнес: — А вот ... ему!

Ресницы нашего всё еще красного дипкурьера затрепетали, но дожидаться вербального ответа я не стал. Заглянул в приемную:

— Лейла Шамсудиновна, собирайтесь в дорогу. После перерыва едем.

Она замерла.

— Спасибо...

Я оглянулся — сэр Булков уже трусил вприпрыжку по коридору. Интересно, доложит шефу о бунте на корабле или нет? А знаете, может, и не доложит. По двум причинам. Первая: гонцов, приносящих неприятные вести, по старинным

законном князят. А вторая: боялся-то бедняга не только Преображенского, но и меня. Хотя меня, конечно, гораздо меньше. Вот глупый...

Я вернулся к порядком уже разомлевшему в кресле под ярким весенним солнышком шевалье Маковкину. Увидев меня, тот помотал головой и встал. Потянулся за сигаретами, авоськой и шляпой.

— Ладно, Дмитрич, пойдю... — И вдруг плутовато прищурился: — А хороша девка!

Я дёрнулся:

— Ч-что?

— Хороша, говорю, девка, — снова подмигнул он.

— Да-да, — холодно согласился я. — Ничего.

— «Ничаво»?! — Поэт уставился на меня с нескрываемым презрением. — «Ничаво»!.. Эх, да что б ты понимал, Дмитрич, в бабах! Да я, будь мене годков на двадцать пять помене!.. — И сокрушенно махнул мозолистой клешней. — Ладно, чё терь об том. А ты продолжай в таком же разрезе. Всё путем. Это я об стихах. Будь здоров, Дмитрич!..

Оставшись один, я нервно закурил. Потом вытащил из шкафа гитару и принялся извлекать из ее нутра какие-то жуткие, скрежещущие звуки.

А потом чуть ли не швырнул гитару на пол. Чёрт, а ведь по приблизительным подсчетам, мне сейчас как раз «годков на двадцать пять помене», чем Александру Николаевичу Маковкину.

Ну и в каком же прикажете продолжать разрезе?

Это я не «об стихах».

Ч-чё-о-рт!..

*А на душе лежит холодный лёд
Моих тревог, обиды и страданья.
И от рожденья жизнь была не мёд,
И нынче все ль напрасны ожиданья?..*

МЫ С ЛЕЙЛОЙ ШАМСУДИНОВНОЙ расположились на заднем сиденье принадлежащей нашей главной областной газете «Общежитие» белой «Волги», за рулем которой был Андрюха Савченко, директор ООО «Форзац», в определенном смысле конкурента издательства, тоже занявшегося недавно выпуском книг и брошюр. Но, так сказать, в быту мы с Андрюхой конкурентами не были: проработав в одном здании больше десяти лет, естественно, множество раз производили, как выражается Гав... — а-а, ну и ладно! — Гаврила Петрович, совместные выпивания, гуляния и проч., и потому по случаю оказывали друг другу различные поильные услуги. Как вот и сейчас — в «случае» с Лейлой Шамсудиновной.

Сама Лейла Шамсудиновна сидела тихо как мышка, с трудом пристраивая два объемистых пакета с директорской прессой между своих длинных ног. Я сначала деликатно вроде бы не замечал этой ее титанической борьбы с пакетами, но в конце концов не выдержал — заметил, отобрал один и пристроил между своих ног, обычных. Мы с ней почти всю дорогу молчали, только я периодически отвечал на вопросы говорливого Андрея.

— ...Это, значит, вон какие дела! Оказывается, Бочаров болеет?

— Болеет, — сдержанно кивал я.

Андрюха крутил головой:

— Надо же! И операция будет?

— Будет.

— Сложная?

— Да вроде сложная.

— Значит, сейчас не тово?

— Сейчас нет, — вздохнул я, косясь на Лейлу Шамсудиновну и не стремясь развивать сию тему дальше. Ну а чего ее развивать-то — все мы не без греха. Хотя вот сам Алексей Михайлович, в общем-то, совершенно и не скрывал этой особенности своего национального характера. Да он даже гордился ею. Говорил: «Как всякий русский человек, я иногда выпиваю. (Ну, насчет «иногда» — это, конечно, скромничал.) А кто не пил? Есенин пил, Шолохов пил, Фадеев пил, Высоцкий пил...» В этой славной литературной компании Алексей Михайлович чувствовал себя своим в доску, вот только вечным предметом его белой зависти был пример жизни и творчества А.Т. Твардовского, которому, как он утверждал с полным знанием дела, жена давала по утрам похмелиться. Жена же самого Бочарова, увы, не была натурой столь чуткой и не только не давала похмеляться, но даже иной раз в разгар трудовой недели сажала супруга на день-два под домашний арест.

И тогда Алексей Михайлович сообщал по телефону, что у него «профосмотр» («техосмотр» — шутили всё понимающие подчиненные), и эти дни руководил издательством по телефону же. «Да, — чистосердечно заявлял он. — Да, порой я пью! Но я ведь как работаю! А назовите-ка еще хотя бы одного человека в нашей областной печати, кто бы одновременно так пил и так работал? А?» И, естественно, никто не называл. Сравнить по этому коэффициенту с Алексеем Михайловичем и впрямь было некого.

Но бог с ним, речь сейчас о другом. Чтобы не смотреть на Лейлу, я старательно тарачился в окно. А за окном — весна, какой и не припомнить. Вторая половина апреля, а температура под тридцать, солнце жарит как летом, и все люди раздетые как летом, многие даже уже загорелые. Да-да. И люди уже загорелые, и... ноги Лейлы Шамсудиновны уже загорелые...

— ...Но откуда у вас появилась такая куколка?! — Это Андрюха, и теперь, кажется, не про Бочарова.

— Ч-что? — как дурак переспросил я, а Андрюха вдруг резко обернулся и, ловеласно уставившись на секретаршу, нежно прошепелявил:

— Клянусь своей бородой (борода у него и правда была шикарная), с момента вашего явления в Дом Печати мы все потрясенно любимся вами и поголовно завидуем этому презренному четвертому этажу!

(Ну погоди, «форзац», за «презренного» ответишь!..)

— Простите, а «мы» — это кто? — покраснела Лейла Шамсудиновна.

— «Мы» — это лучшие представители сильного пола остальных этажей, — пояснил Андрюха, а я натянато поинтересовался:

— Так, для разнообразия, на всякий случай на дорогу не посмотришь?

Он с сожалением кивнул:

— Ладно, для разнообразия посмотрю. — И добавил: — Книжники всегда были сухарями и эгоистами.

Когда мы затормозили во дворе больницы, Лейла Шамсудиновна взяла у меня пакет, а тот, который держала сама, оставила в машине.

— Я скоро. — Она пошла к больнице, а мы с шефом «Форзаца» молча глазели вслед, пока ее фотомодельная фигурка не скрылась за дверью.

Когда скрылась, не сговариваясь, шумно выдохнули и закурили.

— М-да-а... — философски-лирически протянул Андрюха. И, уже деловито: — Замужем?

— Замужем, — буркнул я.

Он почесал бороду.

— Слушай, старик: а как бы провентилировать ее на предмет... м-м-м... более близкого знакомства?

Я зло хмыкнул, однако он интерпретировал этот хмык по-своему.

— А что? Бесплезно? Да ну!.. — И принялся развивать передо мной прогрессивные взгляды на формы, пути и методы вентиляции девушек и женщин на этот самый, видать, не на шутку занимавший его «предмет».

Внешне я слушал абсолютно равнодушно, но внутренне — не абсолютно. Специалист хренов! Теоретик жанра!..

Однако рассердиться основательнее не успел. Из больницы вышла Лейла, и «теоретик» заткнулся.

Она села в машину и захлопнула дверь.

— Ну, как там директор? — Моя дежурная фраза.

— Нормально. Передает всем привет. — Негромко рассмеялась: — Ой, Алексей Михайлович в больничной пижамке такой непривычный и смешной! И такой маленький-маленький!..

Мы тоже немножко посмеялись и тронулись в обратный путь.

Когда до Дома Печати оставалось с километр и справа от дороги замелькали яблоневые сады, — сохранился на северной городской окраине один, последний такой фруктовый оазис в нашем небольшом мегаполисе, — Андрюха опять повернулся и дерзко подморгнул:

— А что, Лейлочка? Время послеобеденное — рабочий день, считай, заканчивается. Так может, приедем сейчас в контору, да и?..

— Остановите, пожалуйста, здесь, — неожиданно попросила она.

— Здесь?!

— Да. Если можно, конечно.

Андрюшка вытаращился на нее. Потом — на меня. А потом снова переключился на дорогу, замедляя бег «Волги».

— Вы не против, Юрий Дмитрич? — Глаза Лейлы Шамсудиновны, не мигая, глядели в мои.

Я глуповато пожал плечами:

— Не против...

«Волга» остановилась.

— Тогда давайте чуть-чуть посидим на воздухе, погода какая замечательная! — И капельку ехидно: — Или боитесь Валерия Макаровича?

Разумеется, после этих слов я пробкой вылетел из машины, и мы горячо поблагодарили вмиг поскучневшего Андрюшку, который явно обиделся. Ну и ладно. Ну и пускай. Подумаешь — «вентилятор»!

Белая «Волга» скрылась в солнечной дали. А Лейла Шамсудиновна вдруг нахмурилась. Наверное, из-за моего малость ошарашенного вида.

— Слушайте, а может, зря это всё, Юрий Дмитрич? Раз не хотите, идемте лучше в издательство.

— Нет-нет! — замотал я головой как конь. — Вы что! Какое издательство? Такой воздух! Такая погода! Я хочу!

Мы устроились на старом спиленном дереве в глубине сада, и Лейла Шамсудиновна принялась извлекать из пакета его содержимое. На газету легли и встали несколько крупных яблок, шоколадка, пузырек с минералкой, два пластмассовых стаканчика и... высокая, изящная бутылка вина.

— «Монашеское», — громко прочел я неизвестное название и вздохнул. Вздохнул просто так, механически, однако Лейла вспыхнула:

— Предпочли бы «Бархатистое», Юрий Дмитриевич? Или «Анапу»? Или какую-нибудь «Лошадь в степи»?

— Я... — И запнулся. — Честно говоря, я не совсем понимаю, к чему это! — показал пальцем на импровизированный стол.

Лейла отбросила волосы за спину.

— К чему? Ну, допустим, мне захотелось отблагодарить вас.

Я невесело усмехнулся:

— Бутылкой?

— Но вы же, Юрий Дмитрич, профессионал по части магарычей!

Какое-то время я молчал. Потом кивнул:

— А-а, так это, Лейла Шамсудиновна, магарыч? Ну, сразу бы и сказали, а то ведь испереживался весь. И за что же? За Бочарова?

Теперь какое-то время молчала она. Потом тоже кивнула:

— За Бочарова. — Через миг добавила: — И за Булкова. И за Преображенского. Но... Но, кажется, этот... магарыч вам не очень нравится?

— Лучшие другой! — вдруг неожиданно для самого себя выпалил я.

Огромные-преогромные глаза Лейлы Шамсудиновны сузились:

— И какой же?

— А вот такой!

И — обхватив за тонкую талию, я впился губами в ее губы...

Целовались мы часа три. А еще мы ели яблоки и немного разговаривали. Но очень немного. А потом двинулись в сторону шоссе, через которое перейдешь, — и вон оно, родимое издательство. Шли по покрытому маленькими листочками саду и спустя каждые десять шагов снова целовались. Когда до шоссе осталось метров пятнадцать, Лейла вдруг всплеснула руками:

— Ой, Юрий Дмитрич! Вы весь в помаде!

Ха! Видела бы она себя! Ярко-красная помада, перекочевавшая с губ Лейлы на мои, сделала из нее почти индианку.

Платком, смоченным в последних каплях минеральной воды, она привела в порядок сначала себя, а потом меня. Перед тем как ей по-новому нарисовать губы, мы еще минут пять целовались. Потом она их нарисовала.

Держась за руки как дети, мы перебежали через дорогу и пошли к издательству. У дверей Дома Печати Лейла остановилась. Солнце светило еще прилично, хотя уже и по-вечернему.

— Вы сейчас куда, Юрий Дмитрич? — Глаза опять огромные-огромные.

Внутри у меня всё задрожало, и я хрипло каркнул:

— Да поработаю.

Она медленно кивнула:

— Хорошо. А я — домой...

— Подожди! — Я стиснул ее руку, но она резко высвободилась.

— Не надо, Юрий Дмитриевич! Пожалуйста, прошу вас, не надо!

И быстро-быстро пошла прочь. А я как идиот смотрел ей вслед, пока она не скрылась за нашим книжным киоском, а потом и вообще — за углом. Утробно вздохнул и поплелся на свой четвертый этаж.

Встретив в коридоре удивленных моим появлением спешащих по домам сослуживцев и сослуживиц, я ввалился в кабинет, плюхнулся за стол и подпер башку кулаком. Что же это такое, братцы, делается, а?..

Минуту сидел или час — понятия не имею. И вдруг зазвонил телефон. Тэ-э-эк, Казанова хренов, ну-ка милости просим с небес на землю! А то размечтался! Небось Маковкин звонит, новых бессмертных од настрогал...

— Да! — рыкнул я в трубку.

А на другом конце провода странная тишина, и наконец — еле слышно:

— Это я, Юрий Дмитрич...

Я вскочил, едва не грохнув аппарат об пол.

— Ты? Это ты?! — И заорал как безумный: — Я люблю!.. Я люблю тебя, слышишь? Слышишь?..

Еще несколько мгновений тишины. А потом:
— А я тебя... — И — короткие гудки в трубке.

Ну а конец дня оказался сущим кошмаром. Как в дыму добрался до дома. Как в дыму что-то там поел и как в нем же (дыму) поплелся выгуливать Джона. Эта процедура, учитывая темперамент моего выкормыша, — дело нелегкое: чуть зазевался, он уже кидается на какую-нибудь кошку или собаку, ну и я соответственно — кидаясь следом. Бывает, что и носом в снег, грязь или траву — от времени года. Сегодня же, как назло, по пути мы наткнулись на боксера и двух доберманов — самые нелюбимые Джоновы породы (еще полуценком его чаще прочих травливали именно с ними), — так что представляете, каково мне было гарцевать через окрестные рытвины и ухабы. Но в голове-то — не Джон, не боксеры с доберманами, а она... Лейла... И еле слышное — «А я тебя...»

«А я тебя...»

Господи! Вечером гляжу в книгу, а ни черта не помогает. Полночи переключал каналы — нет сна, и всё тут. И главное, в башке как заноза: а завтра? Что будет завтра?

Сегодня...

Да, сегодня произошло н е ч т о. Но ведь завтра, не исключено, я, тащась к своей камере, остановлюсь у двери приемной, пробормочу: «Здравствуйте, Лейла Шамсудиновна...»

А она?

А она, смущенно пряча глаза (неудобно же, неловко, бес попутал — а этот вдруг чего-то там возомнил), сдержанно кивнет: «Здравствуйте...»

И...

И — всё. Всё!!! Потому что — неудобно, неловко, бес попутал, а этот вдруг чего-то там возомнил! Ну, помог. Ну, подвез. Ну...

Ну и что? — будет стыдливо думать она. Ну-И-Что?! Весна, солнышко, птички чирикают — с кем не бывает?..

«С кем не бывает... с кем не бывает... с кем не бывает...» В общем, где-то на этой оптимистической ноте я, кажется, уснул. А через какое-то время, кажется, и проснулся. Всё на той же ноте. Проснулся, совершил как робот обычные утренние процедуры и поехал на работу.

Доехал.

Вывалился из маршrutки и пошел.

Дошел...

Остановился у двери приемной...

Лейла Шамсудиновна, тонкая и прямая как стрела, стояла у окна. Выдох самоубийцы, а потом... А потом деревянным строевым шагом я приблизился к ней и замер — лицо в лицо, глаза в глаза. Миг вечности, взрыв тишины — и... И мы начали целоваться как сумасшедшие, так, как будто прямо сейчас расстанемся навсегда и никогда-никогда уже больше не встретимся...

*За всё, за всё, за всё один ответу,
Как только в беспокойной жизни встречу...
Но — прежде книгу надо бы дочесть,
Все му отдать возвышенную честь...*

НЕДЕЛЯ ПРОЛЕТЕЛА как в угаре. С утра и до вечера мы с Лейлой Шамсудиновной почти все время были вместе. Я забросил не только рифмованные философские бредни Маковкина, но и свои плановые рукописи и целыми днями торчал в приемной, фактически оккупировав осиротевшую экологическую нишу от-

пущника Елисея Парисыча. Кстати, ежели вы поинтересуетесь на предмет, так сказать, трудовой дисциплины, то ответчу, что в отсутствие Алексея Михайловича, который за дисциплину бился всегда отчаянно и самозабвенно, народ, по его коронному выражению, здорово разболтался. Это Алексей Михайлович как сонет часиков пять-шесть в кабинете, а потом как вылезет на свет божий, когда подчиненные уже собираются домой, да как начнет бороться с трудовой дисциплиной!.. Он просто фонтанировал афоризмами и крылатыми фразами, одна из которых — «Ну, ужо погодите, с недельку не попьюсь — и всем покажу! Люди у нас сволочи, работать совсем не хотят!» — пользовалась наибольшей популярностью в коллективе.

А вот Валерий Макарович — совершенно другой коленкор. Дисциплину он тоже любил и тоже пил, но и любил и пил совсем иначе и выглядел всегда прилично. Утро в его торговом микрохалифате обычно начиналось с того, что верный Булков рысью бежал «в лавку», ну и далее, так сказать, по плану. К тому же в наше дальнее крыло Преображенский забредал редко, а ежели и забредал, то нарушителей трудовой дисциплины не ругал, потому как ругаться привык исключительно в своем кабинете. Знаете, у меня с годами сложилось впечатление, что в силу некой, не всем видимой природной трусоватости, не очень вяжущейся с мужественной статью, Валерий Макарович, словно мифический Антей от Матери-Земли, черпал смелость и силу духа от родных стен — многочисленных плочечек с цветами, голубей за окном (он собственноручно смастерил им кормушку из огрызка фанеры и, ласково гугукая, регулярно кормил этих добрых птичек, которые в благодарности круто загадили ему полфрамуги), «Нового завета», аккуратно водруженного на столе таким образом, чтобы было видно всем входящим и исходящим, шахматной доски с фигурками, в любой момент готовыми к бою, на журнальном столике и прочих милых бытовых мелочей.

Но я отвлекся. Короче, к себе в пытошную Валерий Макарович нас с Лейлой не звал, а на остальной территории не трогал. Ну а в перерыв и после работы мы сидели на лавочке во дворах близлежащих домов или прятались от всевидящего народного ока в кафе. Но — прячься не прячься, а...

А впрочем, наверное, не особо мы и прятались. Во-первых, мы постоянно целовались. Постоянно — едва лишь оказывались вне зоны досягаемости коллектива издательства в целом и отдельных его членов в частности. Благо, по соседству с приемной имелась подсобка с холодильником, в котором Алексей Михайлович хранил закуску, — и вот там-то...

(Кстати, Бочаров отсутствовал уже почти три недели, а в холодильнике в подсобке все еще лежало его сваренное вкрутую и очищенное яйцо, съесть которое он так и не успел: похоже, рухнул, не доползя до холодильника, а на следующий день его повязали и отправили в больницу. Яйцо уже сильно пожелтело, затвердело, чуть ли не окаменело, и Лейла Шамсудиновна не раз вольнодумно порывалась выбросить его, но я мужественно не давал. Говорил, что так нельзя. Что, мол, начальник за порог — и всё уже, да? Забыли, да? Нет-нет, пускай хотя бы в такой опосредованной форме Алексей Михайлович, как амулет, как талисман, еще побудет с нами. И Лейла Шамсудиновна, проникшись этим моим пафосом, соглашалась потерпеть еще, проникновенно, чуть дрогнувшим голосом добавляя, уже от себя лично: «Мы стараемся сохранить память об этом человеке... — Слезинка в уголках прекрасных глаз. — О гуманисте, о борце, о праведнике...»)

Но я снова отвлекся. Итак, во-первых, мы целовались, а во-вторых, спрятать так ое было, наверное, уже и невозможно. Даже полувлюбленный интриган Булков позже признался мне, что, когда он видел нас, несущихся друг к другу по ко-

ридору, то впечатление было такое, что мы в упор не замечаем никого вокруг. Вот какое тонкое наблюдение коварного ревнивца и латентного недоброжелателя.

В одно прекрасное утро Лейла блистающим метеором ворвалась ко мне в кабинет и свалилась на стул, заливаясь от смеха:

— Представляете! Преображенский велел принести ему какие-то бумаги, я иду, а в голове единственная мысль — не назвать бы его Дмитричем. Бубню себе под нос: «Валерий Макарович... Валерий Макарович...»

Распахиваю дверь — и прямо с порога: «Валерий Дмитрич!»

Я поперхнулся сигаретным дымом.

— И что он?

Лейла пожала плечами:

— Да почти и ничего. Так это понимающе-сочувственно усмехнулся: «М-да-а... бывает, бывает...»

Я махнул рукой:

— Э-э-э, Лейла Шамсудиновна, вообще-то, то, что произошло с нами, в принципе, можно просто расценивать как исполнение приказа верховного командования. (Забыл сообщить, что пару месяцев назад случился, как теперь выяснилось, просто-таки исторический казус. Алексей Михайлович, проснувшись раз в своем кресле в полдень, выплыл в приемную и узрел там возбужденного Елисей Парисыча, которого не любил за то, что тот считал себя правдолюбом и борцом с администрацией за гражданские права рядовых членов коллектива, а еще за то, что Баранов каждый день по нескольку часов играл в шахматы с главным оппонентом Бочарова Преображенским. Попозже, уже ближе к вечеру, встав из объятий Морфея вторично, Алексей Михайлович снова застукал настырного обольстителя в районе поста Лейлы Шамсудиновны и, возмущенный таким любовным тунеядством, изрек кому-то из приближенных, как оказалось впоследствии, прямо-таки пророческий монолог: «Ни хрена не пойму — чего это Баранов вокруг Лейлы ошивается! Ухаживает за ней, что ли? Не, ну а она-то, она — с таким придурком связалась! Уж лучше б с Дмитричем, что ли!..» И, как видите, слова те действительно оказались вещими.)

— Но Алексей Михайлович не приказывал нам впрямую... ну... это самое... — возразила Лейла внешне сурово, однако в бездонных глазах ее прыгали маленькие юмористические бесенята.

— Впрямую нет, — согласился я, — но ведь высший служебный пилотаж и состоит в том, чтобы угадывать малейшие пожелания начальства по одним лишь туманным намекам. Вот мы и угадали, и... исполнили.

И вдруг Лейла вспыхнула:

— Не «мы», а — «вы», Юрий Дмитрич!

Мне вмиг сделалось как-то не по себе.

— Ну, извините, Лейла Шамсудиновна. Конечно... Понимаю...

— Да что вы понимаете!

И в этот момент дверь, как от ударной волны, едва не слетела с петель, и на пороге во всей своей молодецкой красе нарисовался мой давний приятель — писатель и отменный знаток и ценитель прекрасного пола Святослав Дегтярёв. Косая сажень в плечах, громовый бас, залихватски подкрученный ус, пронизывающий прищур — и брызжущая неудержимым фонтаном через все края энергия. Коро-
че — просто орёл!

— Добрый день! — бархатно пророкотал Дегтярёв.

— Здравствуйте. — Лейла в мгновение ока выскользнула в коридор.

Святослав проводил ее внимательным взглядом специалиста. Изрек:

— Ничего, ничего девочка, жаль, попа подкачала.

Я испугался:

— В смысле?

— В смысле маловата, в каком же еще?

— Да? — удивленно переспросил я.

— Конечно, — веско подтвердил Дегтярёв и оседлал стул, жалобно пискнувший под его минимум стакилограммовой фигурой. — Конечно, маловата! Да ты сам посуди. В бабе ведь главное что? В бабе самое главное — ж...а! Чтоб было за что подержаться. У меня и первая, и вторая, и третья жены были вот с такими, — показал, разведя руки как крылья, с какими, — ж...ми! Да и щас, у всех, с кем я... ну, это самое, — во-от такие, — снова распахнул мощные длани, — ж...ы! Понял?

— Понял, — робко кивнул я. Вкусы Дегтярёва, в общем-то, были мне известны. Правда, я абсолютно не был согласен с тем, что у Лейлы Шамсудиновны, гм, попа маловата. Да вовсе нет! При ее осиной талии и девичьей груди попа Лейлы была очень красивой — округлой, выпукло рельефной и страшно аппетитной. У меня при взгляде на нее родилась даже когда-то тайная фраза: низ от Рубенса, верх от Боттичелли. Хотя по сравнению с, простите, ж...ми баб Дегтярёва, оно конечно...

— Ладно! — рубанул он рукой воздух. — Хрен с ними! — И, раскрыв «дипломат», вывалил на стол ворох газет и журналов. — Смотри! Вот меня «Савраска» опять напечатала, вот «Послезавтра», вот «Литроссия», а это местные — «Общезитие», «Молодой пролетарий», «Побережье»... А вот — «Наш современник», «Дон», «Роман-газета» подборку дала. Понял?

— Понял, — снова кивнул я. Святослав писал рассказы, которые печатались по всей стране. Познакомились мы, когда пребывали еще в ранге молодых авторов, и, пожалуй, двое тогда подавали самые большие надежды — он и Игорь Сысуев. Но Игорь написал немного, хотя его пронзительный дар был, несомненно, от Бога. Вскоре на всех нас навалилась «перестройка», и горячий, порывистый Игорь очертя голову как в омут кинулся в журналистику. Прозу писать почти бросил. А несколько лет назад его не стало...

Ну а Святослав давно уже переплюнул нас, остальных бывших «молодых», благодаря не только таланту, но и огромной энергии и пробивной силе. По целому ряду творческих и не очень причин он переругался с большинством местных писателей, но я-то в писатели никогда и не рвался; так, кропал себе помаленьку, не вызывая ни у кого своей продукцией ни особого восторга, ни зависти. Да и сам сроду никому не завидовал, в «Союз» не лез и литературной, так сказать, жизнью не жил. Может, поэтому Дегтярёв и дружил со мной. Хотя может, и не только поэтому.

— Не, ну ты видал? — Святослав на секунду откинулся на спинку стула. В его голосе звучали утомленность славой и пресыщенность лаврами.

— Видал, — подтвердил я, и он сразу же начал закидывать газеты и журналы назад в «дипломат». Закинул. Сунул мне руку:

— Побегу в «Новую газету». Мне там гонорар должны. — И побежал.

А я еще минут пять посидел и пошел к Лейле Шамсудиновне, которая встретила меня вопросом:

— И что же сегодня, Юрий Дмитрич, поведал вам господин Дегтярёв?

— Что поведал?... — Я медленно-медленно наклонился к ней, нежно-нежно поцеловал сначала в шейку, потом в лобик, потом в носик, потом в губки, а потом тихо-тихо прошептал в розово-персиковое ушко: — Он поведал мне, Лейла Шамсудиновна, что у вас ж... маленькая...

И — быстрее лани опрометью бросился из приемной.

Пардон, небольшой антракт...

*Подвиг твой мой своим бессмертьем вечен,
И в народе имя популярно.
Памятью незыблемой отмечен —
Личность велика и титулярна.*

ВЫЙДЯ УТРОМ ИЗ МАРШРУТКИ, я только было собрался направить стопы к издательству, как...

«Вж-ж-ж!..» — Рядом резко затормозил черный джип, и из него выскочил — вот именно «выскочил», невзирая на достаточно уже не юношескую комплекцию, еще один друг, моего детства, Серёга. Когда-то мы с ним ползали на коленках по кучам песка с игрушечными машинками и тоже гудели, как его джип: «Вж-ж-ж!..» У Серёги был пёс, небольшой, но пальца в рот не клади. Серёга назвал его Мухтаром — тогда только прошел знаменитый фильм «Ко мне, Мухтар!» — и знаете, кличка эта стала для моего товарища в определенном смысле пророческой: сразу же после школы он поступил в училище пограничных войск, по окончании которого почти двадцать лет отрубил на погранзаставе в Туркмении. Дослуживал Серёга уже дома, и вот теперь бывший стройный и черноволосый лейтенант — капитан — майор, а ныне круглолато-седовато-лысоватый полковник ФСБ в отставке выскочил из машины со словами:

— Юрец! Как жизнь?

Мы обнялись, словно не виделись лет сто, хотя, в принципе, встречаемся довольно часто. Когда я бываю у родителей и замечаю Серёгин джип возле дома его матери, то подхожу к калитке и привычно ору, как лет тридцать — тридцать пять тому назад:

— Серёга!..

В форточку выглядывает тетя Маша, и я спрашиваю, «как тогда»:

— А Серёга выйдет?

И она, «как тогда», оборачивается в глубь комнаты:

— Серёжа, Юрка пришел...

(Нет, все-таки здорово иметь старых друзей!)

— На службу? — спрашивает полковник Серёга.

— На службу, — подтверждаю я, а он хлопает одной своей могучей ручищей меня по плечу, а другой себя по пузу.

— Слушай, Юрец, ты просто чертовски красив и эротичен!

— Чево-о?! — таращу я глаза.

— Тово! — ржет. — Погляди, как меня разнесло, а ты прям кипарис!

— Да ладно, — смущенно ворчу я. — Тебе положено, ты большой начальник.

— Ребят-то видишь? Всё играете?

— Играем.

— Ну, молодцы!..

Мы потрепались еще минут пять, и Серёга бросил взгляд на часы:

— Ладно, Юрец, будь здоров. Извини, некогда. Погнал...

Мы прощаемся, и Серёга стремительно уносится вдаль, а я иду к нашему Храму — Дому Печати. Однако... Однако сегодня поистине было утро встреч.

— ...Привет, Юрец!.. — И я завертел головой по сторонам.

Это было Сашка Майоров, работавший несколько лет назад в издательстве художественным редактором, Он, как теперь Баранов, отвечал за оформление книг — обложки, иллюстрации, всякие там форзацы, титулы, шмуцтитулы, заставки и прочее.

Однако помимо службы в издательстве Санька активно занимался и личным творчеством — преимущественно делал гравюры, хотя и иногда, как он выражался, баловался живописью. Сашкины, на взгляд почтенного обывателя, бредовые

«картинки» пользовались большим успехом не только в нашем городе, но и Москве и даже за рубежом. Ко времени описываемых событий его работы красовались уже в галереях и частных коллекциях едва ли не всех стран Европы и Соединенных Штатов (даже у Мадонны, во как!), а потому немудрено, что эпоха творческого и имиджевого (так он любил говорить) роста Сашки, совпавшая по хронологии с протиранием штанов и ляпанием обложек к той мутоте, которую мы в основном издавали, завершилась, как и должна была завершиться. Не особо почтительно относившийся к издательским небожителям Бочарову и Преображенскому и к тому же считавший их людьми, ничего не соображающими в искусстве, Сашка довольно быстро оборзел и «забил» и на них, и на свою основную работу — варганить левой задней либо же давал варганить корешам-художникам всякие-разные обложки, а сам с головой ушел в творчество: резал, прокатывал, раскрашивал свои совершенно умопомрачительные и по замыслу, и по смыслу, и по исполнению гравюры, а когда не резал, не прокатывал и не раскрашивал — то бухал. Ну и мы с ним — когда, допустим, как я и Витька Казаков (тогда редактор массово-политической литературы, а теперь — главный редактор красивого, иллюстрированного журнала «Чернозёмск»), не редактировали, Булков не заведовал детской и художественной литературой, а Ручкин не тискал баб. Времечко, конечно, было веселое, начнешь вспоминать — бумаги не хватит, а посему ограничусь кратким резюме: Санька уже лет пять-шесть не работал в издательстве, но связь мы поддерживали и дружить, а порой и сотрудничать (он сделал несколько рисунков к моим — тоже малость стебанутым — рассказам), а также иногда и выпивать не прекращали. И так...

— Привет, Юрец!

— Привет!

Мы закурили и несколько минут подымили «у парадного подъезда».

— Как там Огурцов? — деловито поинтересовался Сашка. Огурцовым он называл Бочарова — за некоторое сходство с киноперсонажем.

— Да пока ничего. — Я хотел было сообщить, что Алексей Михайлович на сей момент на работе отсутствует, но не успел: Сашка больше любил говорить сам, нежели слушать других.

— На тележке уже не катается? — И громко захохотал.

Я, каюсь, тоже громко захохотал. Знаете, «Эпизод с тележкой» вошел в анналы трудовой доблести и славы нашего коллектива, пожалуй, одной из самых ярких его страниц.

Произошло это на День Печати, и нарезался тогда г-н Бочаров до такой степени, что сперва часа два спал в кресле, а потом столько же на стульях. На экстренно собранном мужском совете племени директора было решено разбудить — и вроде бы разбудили, хотя проблема от этого только усугубилась. Поднять и перенести Алексея Михайловича обратно в кресло у нас не получалось. Я говорил уже: он был маленький, очень толстый и рыхлый, а главное — очень тяжелый. И поднять Алексея Михайловича в бессознательном состоянии было практически невозможно: он — ускользал, просыпался как песок, проливался как вода меж пальцев из любого количества дружеских рук и опять мгновенно засыпал сном младенца.

Вот нечто подобное стряслось и в тот праздничный день. Самое большее, что удалось подданным Алексея Михайловича, — это прислонить его спиной к стене. С минуту он вертел головой по сторонам, потом поинтересовался: «А в каком это, скажите-ка, учреждении мы сейчас находимся?» — и вновь моментально захрапел.

Но народ-то желал кто чего! Кто домой, а кто продолжать праздник! И Бочарова опять начали робко трясти: «Алексей Михайлович!.. Да Алексей же Михайлович же!..» Лишь Валерий Макарович, на правах великого визиря, позволял себе фамильярное: «Лёша! Ты слышишь нас? Вставай, Лёша!..»

Ваконец «Лёша» нас услышал, но увы, результат был незначителен. Он разлил маленькие, под толстыми стеклами очков, результаты и заплетающимся языком сообщил присутствующим, что выпил потому, что к нему приезжала японская делегация книгоиздателей и он рассказывал ей, как печатают книги у нас, в России, а потом делегаты стали рассказывать ему, как печатают книги у них, в Японии. «В Японии же книги издавать трудно, — снисходительно, как дурачкам, с улыбкой явного превосходства, бормотал Алексей Михайлович. — Это у нас букв штук тридцать — сорок, а у них, в Японии, этих... ироглифов, тыщи, миллионы! Понимаете?!»

«Понимаем-понимаем!» — вежливо кивали мы и докивались, куда Бочаров снова не захрапел. (Кстати, потом выяснилось, что Алексей Михайлович не бредил, только это была не «японская делегация издателей», а два паренька-корейца из так называемой «канадской компании» — ну знаете, из тех, что радостно просачиваются во все дырки с улыбкой до ушей и счастливыми воплями: «Вам исключительно повезло!..» Они и раньше периодически шастали по нашим весям, а тут залетели, бедолаги, в кабинет шефа, ну и влипли. Ох, представляю, что пришлось им вытерпеть в ранге делегатов из Японии. Но я отвлекся.)

— Да твою ж мать! — совсем уже не по-христиански прорычал Валерий Макарович и зычно скомандовал: — Хватайте его!

И — схватили. Кто за что. И — поволокли из кабинета головой вперед как стенобитную машину времен Римской империи. Выволокли в приемную, выволокли в коридор, и... И — всё! Эффект воды и песка: Алексей Михайлович вывалился, выпал, просочился, вытек из наших рук. Шмяк! — и он уже, ничтоже сумняшеся, спал на полу.

Короткий нервный перекур. И — Преображенский вновь: — Хватайте!

Схватили. Поволокли. Еще немного, еще чуть-чуть... Нет! Опять выпал — опять спит!

И вот тогда... И вот тогда Валерий Макарович принял то самое, и историческое, и стратегическое решение. Обведя присутствующих орлиным, слегка замутненным (праздник же!) оком, Преображенский вперил это око куда-то в вечность.

— Ну так что? — многозначительно изрек наконец он. — Что, господа, будем делать?.. — И — остановись, мгновенье! — А может... в тележке?..

И — без какого-то там кощунства, а с одной только н а д е ж д о й ... Ведь должен же, должен — чёрт побери! — этот праздник хоть когда-нибудь закончиться?!

Момент истины — и!.. И...

— Давайте! — загомонили «господа». — Давайте тележку!..

И — всеобщее радостное ликование и краткие народные гуляния. И — кто-то побежал на склад за тележкой, в которой мы возили книги.

С гиканьем и молодецким посвистом подкатили тележку и с великим трудом, потому как была она с высокими бортиками, перекантовали в нее Алексея Михайловича. Зрелище, доложу вам, было страшно трогательным, и именно из-за бортиков. Алексей Михайлович лежал в ней, как пупс, а ручки и ножки задорно торчали кверху. Голову он уже держал, и, когда мы тронулись в путь, с интересом смотрел по сторонам, отпуская периодически себе под нос какие-то ворчливые реплики, — судя по всему, насчет дисциплины труда. Ну, как обычно, типа «народ совсем разболтался».

Тележка с резиновым шуршанием колесиков мягко подкатилась к лифту. Короткая дискуссия, чисто по технологии процесса. Затем водитель побежал по лестнице подгонять машину ко входу в здание, часть биндюжников тоже пошли вниз... Но вот как отправлять «объект», без сопровождения, или?..

И тут я вдруг почувствовал на своем порядкем натруженном плече чью-то отеческую руку. Обернулся.

— Ну, давай, Юрий Дмитрич! Давай, Юра! — Валерий Макарович смотрел на меня теплым, таким же отеческим, как рука, взглядом. — Давай!..

И — я дал. Створки лифта со скрежетом распахнулись, и мы филигранно вкатили тележку с Алексеем Михайловичем в кабину. Я бочком втиснулся рядом, створки клацнули и закрылись, и в таинственном полумраке мы медленно поплыли вниз. Алексей Михайлович капельку испугался, чего-то забормотал, заёрзал, но испугаться сильно, к счастью, не успел. Мы прибыли к конечной станции, лифт открылся, и несколько добрых рук в мгновение ока выкатили тележку на оперативный простор. Ну а перегрузить Алексея Михайловича из тележки в автомобиль было делом плевым. Перегрузили, утерли со лбов пот — и машина умчалась в даль светлую, унося нашего дорогого шефа домой, на randevу с его, как он всегда выражался, «строгой, но справедливой» супругой...

После того Дня Печати «строгая, но справедливая» не пускала благоверного на службу неделю — срок рекордный. А когда через неделю Бочаров появился — и леший же дёрнул меня первым попасться ему на глаза.

Он только буркнул:

— Зайди.

Я зашел.

— Закрой дверь.

Закрыл.

Он хмуρο покрутил головой:

— Слышь, только без брехни! Это Преображенский додумался меня на тележке возить?

Я, в общем-то, достаточно неопределенно пожал плечами.

— Преображенский! — зло рыкнул Алексей Михайлович. — Он! Это он, сволочь, нарочно, чтоб авторитет мой среди коллектива подорвать! Ну, ладно-ладно, я им всем, сволочам, еще покажу!.. Небось совсем разболтались тут без меня? Ну ничего-ничего, я вот щас с недельку не попоьюсь, а потом кэ-эк проведу летучку по дисциплине! И на ней каждый! — помахал перед носом своими на диво тоненькими, прямо дамскими пальчиками. — Ты понял? — к а ж д ы й — отчитается о проделанной работе! Понял?

— Понял, — кивнул я.

— Ну иди... — И, закрывая за собой дверь, я услышал звяканье стекла о стекло. Да нет, похоже, «через недельку» летучки по дисциплине не будет.

Ее и не было...

Вспомнив сей казус, Сашка ржал долго, аж до слёз. Сам-то он в издательстве тогда уже не работал, ему рассказал кто-то из встреченных бывших сослуживцев. Наконец, отсмеявшись и вытерев слёзы, Сашка озорно сверкнул глазом и подкрутил мушкетерский ус:

— Так значит, он в больнице? Гм... Интересная картина получается. Это теперь у вас, выходит, Преображенский царствует?

— Царствует, — сдержанно подтвердил я. — Выходит.

— Ну, слава те, господи, дорвался-таки! — И вдруг он резко сменил галс: — Слышь, Юрец, да я тут ты как-то пару раз с одной мамзелью видал, но окликать не стал, чё мешать-то. А ничего, скажу те, мамзель-то! Молодая?

— Молодая, — вздохнул я.

— Не, ну а мы пердуны старые, что ль? Нам, вечно юным и дерзким, именно таких и подавай. У вас работает? Замужем?

— У нас. Замужем, — снова вздохнул я. — Но главное — в нее страстно влюб-

лен небезызвестный тебе Елисей Парисович Баранов и успел уже даже сделать ей официальное предложение руки и сердца.

Майоров опять расхохотался:

— Ну, этот чудик вечно чего-нибудь отмочит! Погоди, но он вроде к бывшей жене в Израиль когти рвать собирался?

— Да вроде и собирается. Ну, не знаю, как он эти дела сочетать думает.

Сашка махнул рукой:

— Ладно, хрен с ним. Слушай, у меня дома самодельное вино скоро подоспеет, две бутылки по двадцать литров. Как подоспеет, приходите с ней в гости на дегустацию. Хотя ты-то мое вино знаешь!

— Знаю, — опять вздохнул. — Приходил уже, дегустировал. Только вот как уходил, помню слабо. Да и, кажись, начепушили мы тогда чего-то...

— Ой, брось! — поморщился Майоров. — А когда мы не чепушили? Мы — натуры творческие и должны творчески же расслабляться... Да, я ж в Германии был и привез оттуда во-о-о какую рогатку, — показал, какую. — С прикладом, как ружье! Хожу теперь с ней на озера — знаешь же, там, за последними домами Северного, озера есть, — уток стреляю.

— Здорово! — восхитился я.

— Еще как здорово! Пойдешь?

— Пойду, — согласился я. — Чего ж не пойти.

Сашка, как и Серёга, глянул на часы и заторопился.

— Слышь, опаздываю! Но учти, фофан, я помню, когда у ты день рожденья. С меня картинка! Всё, пока, побежал... — И — убежал.

А я пошел на работу. Иду, представляю, как подкрадусь сейчас на цыпочках к приемной, — а там она, ждет, бедная, не дожидется...

Крадусь, перехожу на цыпочки, и... слышу из недр приемной звонкий, залихватистый смех. Оригинально, однако!..

Уже не на цыпочках, а грозной поступью Железного Дровосека врываюсь в приемную, и... И мой воинственно-ревнивый пыл вмиг улетучивается. Идиллический пейзаж: на своем рабочем месте за столом за машинкой — прекраснейшая из прекраснейших секретарш Лейла Шамсудиновна, а в кресле напротив, нога на ногу, деловой и вальяжный, как какой-нибудь Джон Фогерти на пресс-конференции в Зале славы рок-н-ролла, сам Вячеслав Владимирович, он же Гаврила Петрович.

При виде меня Гаврила Петрович как вскочит с кресла, как кинется мне навстречу, как начнет руки пожимать, и:

— Всё! — кричит. — Ну всё, друга дождался, теперь можно и уходить!

— Как это?! — удивился я. — А чего ж это уходить-то, коли дождался?

Гаврила Петрович посмотрел на Лейлу Шамсудиновну взглядом заговорщика-карбонария, а на меня посмотрел как на дурачка. Но мне-то до лампочки, а вот Лейла Шамсудиновна от его такого карбонарийского взгляда вдруг почему-то смутилась.

— Понимаете, Юрий Дмитриевич, — тихо проговорила она. — Дело в том, что Гаврила Петрович пригласил нас в гости... — И осеклась.

— Д-да? — глуповато кивнул я.

— Да! — энергично кивнул Гаврила. — Да, уважаемый, и еще раз да!!! Но главное дело в том, что ты — счастливый человек, и не просто счастливый, а самый счастливый в мире, потому что у тебя есть такой друг, как я! Это вот я — самый несчастный человек в мире, потому что у меня нет такого друга, как я. И вот твой лучший друг пришел пригласить вас в гости... — Я попытался что-то пискнуть, но Гаврила подавил мой писк в зародыше суровым взмахом руки. — Завтра пятница, уйдете с обеда, адрес Лейла Шамсудиновна записала. — Повернулся к ней и чинно поклонился: — До свидания, многоуважаемая Лейла Шамсудиновна.

— До свидания, Гаврила Петрович! — присела в легком книксене Лейла, хотя взгляд ее продолжал оставаться очень и очень настороженным.

— А друг проводит друга! — Гаврила Петрович потащил меня из приемной. До лифта мы топали молча, а уже возле лифта я промямлил:

— Слушай-ка... погоди... что-то не совсем понимаю...

— Ну что? Что ты не понимаешь?! — вдруг вспетушился Гаврила.

— Во-первых, я не понимаю, куда именно мы идем в гости! — огрызнулся я. — К тебе домой?

Он презрительно фыркнул:

— Ты дурак, да? Совсем рехнулся от своих, как я это называю, умственных томлений любовно-политического характера! У меня дома, между прочим, постоянно торчит нигде не работающая тунейдка — хранительница семейного очага, которая и меня-то уже задолбала в шишки на эту самую тему, а тут я еще тебя с мадамой приволоку? Нет, дорогой товарищ, нет! Я приглашаю вас с Лейлой Шамсудиновой в гости в соседний подъезд, в квартиру, где раньше жили мои покойные родители и которая теперь фактически моя и я могу делать с ней всё, что хочу, в том числе и приглашать туда лучших друзей. Понял?

— Понял, — кивнул я. — Огромное спасибо!

— Огромное пожалуйста! — кивнул он. Помолчал и добавил: — А ты смотри, смотри на меня и врубайся, каким должен быть настоящий человек и настоящий друг, который видит, как его несчастный лучший друг мается, потому что... — И многозначительно прищурился: — Ну? Врубаешься?

— Врубаюсь! — как морж выдохнул я. — Еще раз спасибо тебе!

— На здоровье! — Гаврила Петрович горячо пожал мне руку и отважно шагнул в разверзшееся пред ним жерло лифта. — До завтра, товарищ...

— До завтра, — пробормотал я и пошел обратно в приемную.

Шел и думал: наверно, я и правда дурак. Что-то слишком многое доходит до меня слишком долго...

*Я к жизни духом пробуждаюсь
И наслаждаюсь дивной песней,
В пьянящем омуте купаюсь —
Ничто не может быть чудесней!*

СЛЕДУЯ МУДРЫМ НАСТАВЛЕНИЯМ Гаврилы Петровича, мы с Лейлой Шамсудиновой отпросились с обеда у Преображенского и пошли на ближайший мини-рынок. Вообще-то справедливости ради следует отметить, что с принятием на себя верховного командования Валерий Макарович здорово полаяльнел к подчиненным и отпускал всех подряд куда и когда угодно. Полагаю, главной причиной относительного очеловечивания Преображенского стало то, что он, похоже, окончательно уверовал, что Алексей Михайлович больше не вернется в свой кабинет, и такой производственной добротой решил завоевать сердца и души подчиненных. На хрен, кроме несчастного Булкова, больше никого не посылал и стал почти душкой, только вот Лейле Шамсудинове на днях заявил, что ни на какую сессию ее не отпустит. (Кажется, я забыл упомянуть, что, уже имея диплом филфака, Лейла училась на третьем курсе гуманитарно-экономического института.) И я быстро смекнул, что подобными мелкими пакостями Преображенский просто подталкивает ее к увольнению. Но ладно, снова отвлекся.

Итак, мы пошли на рынок, купили сыра, колбасы, консервов, помидоров, огурцов, зелени и чего-то там еще. В киоске взяли бутылку вина и отправились по указанному Гаврилой Петровичем адресу.

Оказалось, что дом Гаврилы недалеко, и меня это приятно удивило. Лейлу же Шамсудинову удивило, но далеко не столь приятно, что дом этот стоял метрах в ста пятидесяти от ее собственного. Она и так-то чувствовала себя не в своей тарелке, а тут просто окаменела.

— Вот это сюрприз, Юрий Дмитрич!..

Мы нашли нужный подъезд и нырнули в него. «Сюрприз» номер два: не работал лифт, а искомая квартира на последнем, девятом, этаже.

— Эх, Гаврила-Гаврила! — неблагоприятно вздохнул я, и мы поплелись по лестнице наверх. Второй этаж... третий... седьмой... девятый... Стоп!

— Уф-ф!.. — ткнул я пальцем в одну из дверей: — Кажется, здесь. — Нажал на кнопку звонка, и из-за двери донесся приглушенный голос:

— Ктой-та?

— Мы! — громко сообщил я.

— А кто — мы? — тот же западзяцкий голос. Вот гад, не может без своих штук!

— Это твой лучший друг и глубоко уважаемая тобой Лейла Шамсудиновна! — терпеливо проскрежетал я. Приходится принимать правила игры.

Звяканье цепочки и клацанье замка. Потом дверь чуть приоткрылась и в узенькой щелке показался острый шайеннский нос, блестящий вороний глаз и седой чубчик Гаврилы Петровича. Несколько секунд этот бессовестный глаз внимательно нас разглядывал, а после дверь широко распахнулась и Гаврила кинулся обниматься.

— О-о-о! Мой лучший друг!.. О-о-о! Лейла Шамсудиновна!..

Но счастье длилось недолго. В миг единый он посуровел:

— Ну?! Чё стали? Хотите, чтоб соседи увидели и Таньке заложили?

Мы зайцами скакнули через порог, и строгий хозяин закрыл дверь.

— Проходите!

Мы прошли в комнату. Там уже стоял скромно сервированный журнальный столик. Скромно — в смысле тарелки, вилки и стаканчики.

Чуткий Гаврила поймал мой взгляд:

— Чё вылупился?

— Да ничё, — пожал я плечами. — А угощение-то где?

— Угощение?! — Гаврила Петрович аж побледнел от праведного гнева. — А ты, чмырь, знаешь, что я щас временно нетрудоспособный?

— Как это? — удивился я. — Больной, что ли?

Он обиделся.

— Сам ты больной! Не больной, а безработный, и потому неоткуда мне вам тут разносолов брать. Сами, раз в гости шли, должны были принести!

— Да мы принесли. — Я начал выкладывать содержимое пакетов. Выложил, и Лейла взяла бразды правления в свои руки: мыла, резала и раскладывала по тарелкам огурцы, помидоры и зелень. Я резал колбасу, сыр и хлеб. Гаврила Петрович, почесав затылок, однако ж тоже, невзирая на бедность, внес свою пищевую лепту: водрузил на стол пузырек с солью. Водрузил, окинул взором получившийся натюрморт и растроганно всхлипнул:

— О-ох! Ну и друзья ж у меня! Капитальные — как я это называю!..

Увидев бутылку, вообще чуть не прослезился:

— Ох и друзья! Ну и друзья!..

За столом Гаврила сразу же взял на себя роль и тамады, и виночерпия, и массовика-затейника.

— Угощайтесь, друзья! — хлебосольно размахивал он левой рукой, а в правой была бутылка, из которой он принялся разливать вино. — Накладывайте себе, Лейла Шамсудиновна! И ты накладывай. Чё сидишь?

Гаврила Петрович коршуном парил над столом и над нами со стаканчиком в одной руке и огурцом в другой.

— Ох, и друзья!.. Ну и друзья!.. — Замер: — А теперь — тост. Предлагаю немедленно выпить за, как я это называю, дружбу между полами! Потому что дружба между полами...

Он нёс что-то еще, а мы сидели притихшие как мыши: Лейлу стиль ведения Гаврилой мероприятия явно смутил, а я смутился потому, что смутилась Лейла.

— Да ладно! Все всё поняли! — не слишком вежливо перебил я радушного хозяина. — Давайте уж!..

Мы чокнулись и выпили.

— Закусывайте! Закусывайте, Лейла Шамсудиновна! — не переставал джентльменничать Гаврила Петрович. — Вот, пожалуйста, колбаска, сыр, шпроты... — Ну и мне тоже: — А ты чё расселся? Вон петрушки пожуй. Она для потенции джуже полезительна...

Я едва не свалился со стула, а Лейла вмиг сделалась пунцовой. Гаврила же, точно не обращая внимания на нашу реакцию, продолжал тараторить про всё подряд, причем без каких-либо этических и логических переходов.

— А как там Емельян ваш поживает? — прошамкал он туго набитым ртом, и я, в ответ на недоуменный взгляд Лейлы, пояснил:

— Это он про Елисея Парисыча.

— Ага, — кивнул Гаврила. — Про него про самого. В Землю обетованную еще не укатил? Или он сперва на вас, Лейла Шамсудиновна, женится, и потом вместе укатите?

Лейла совсем смешалась, а он уже, обняв меня за шею и одновременно разливая вино, заговорщицки предлагал:

— Слышь, а давай его уьем? Чё он, гнида, на чужих жен и невест заглядывается?

(Должен заметить, что Гаврила Петрович и Елисей Парисыч знакомы были едва-едва. Но и этого «едва-едва» хватило, чтобы оба прониклись друг к другу стойкой неприязнью. С одной стороны, крепкий, закаленный и битый-перебитый жизнью сын лесов и прерий Гаврила абсолютно, мягко говоря, не понимал людей, которые и летом ходят в кальсонах. С другой — прямолинейные и порой грубые высказывания циника и насмешника Гаврилы заставляли бледнеть и трепетать вроде бы интеллигентную душу носителя этих кальсон. А уж когда Елисей Парисыч опрометчиво поделился с Гаврилой Петровичем своими планами отбытия в Израиль и даже похвастался, что готовится к этому ответственному шагу весьма серьезно — загодя вставляет зубы, осваивает компьютер, занимается в автошколе, а самое главное — изучает в городской синагоге иврит, — ну, тут уж русско-индейский дух Гаврилы взыграл во всей красе, и чего только в том его приснопамятном монологе не было: и о любви порядочного человека к Родине, и о свином рыле в калашном ряду — в общем, после той беседы Елисей Парисыч возненавидел Гаврилу Петровича всеми фибрами своей готовящейся к эмиграции души и если и вспоминал о нем, то иначе как негодяем не величал. А вот Гаврила внешне нет. Гаврила просто спрашивал иногда: «Ну чё там Емеля? Не сбежал еще?» И когда узнавал, что еще не сбежал, трогательно предлагал: «А давай его уьем, а? Ну чё он к бабе мово лучшего дружка лезет?»)

Короче, застолье было исключительно содержательным и по духовному, и по интеллектуальному накалу. Мы с Лейлой рта почти не раскрывали, царицей бала был Гаврила Петрович. Однако в какой-то момент я узрел, что на тонком лице его время от времени появляется некая отрешенность. Боюсь, что на моем лице она тоже время от времени появлялась: трижды грешен, но не только для того ведь привел я Лейлу Шамсудиновну в эту квартиру, чтоб внимать пламенным бредням своего капитального друга...

Причина отрешенности Гаврилы выяснилась, когда я отправился курить на

балкон. Быстро покурив и собрался уже было возвращаться обратно, но Гаврила каменной глыбой преградил мне путь и еле слышно спросил:

— Эй, а выпить чё, больше нету?

Я, так же еле слышно, ответил, что нету, и собрался в свою очередь спросить кое о чем у него, однако он презрительно хмыкнул:

— Вот тебе и капитальный дружок!.. — И, горестно махнув рукой, направился к двери.

Я удивился. Признаюсь, в хорошем смысле этого слова.

Лейла Шамсудиновна удивилась тоже. Но, по-моему, в не столь хорошем. Она моментально вскочила:

— Куда вы, Гаврила Петрович?!

Он хмуро зыркнул на нее:

— Дела! — И на меня: — Идем закроешь. — У порога сунул ключ: — Занесешь потом в соседний подъезд, — и назвал номер квартиры. — Понял?

— П-понял... — медленно кивнул я, и внутри что-то вдруг предательски задрожало.

А Гаврила печально побрел по ступенькам вниз, выражая своим видом поистине вселенскую скорбь и метагалактическое душевное одиночество.

Я вернулся в комнату. Лейла Шамсудиновна все так же настороженно и чуть ли не испуганно стояла возле стола, и в огромных глазах ее застыло... Нет, не знаю, как передать то выражение ее глаз. НЕ ЗНАЮ!!!

Я деревянным шагом приблизился к Лейле и... поцеловал в губы...

Потом еще, и еще...

А потом как сумасшедший стал целовать ее глаза, щеки, лоб, шею, плечи. Она была неподвижна как статуя, и я начал ее раздевать и, уже обнаженную, снова целовал ее всю...

И вдруг она как-то жалобно прошептала:

— Мне холодно, Юрий Дмитриевич...

Я поднял ее на руки, понес и положил на диван.

— Юрий Дмитрич!.. — Глаза Лейлы расширились, и я склонился над ней, а потом...

А потом она вскрикнула, словно пытается меня оттолкнуть, — но не оттолкнула, а наоборот — со стоном изогнувшись как кошка, обвила руками за шею — и я, словно в бездонный ослепительный омут, рухнул... Куда? В пропасть, в бездну. Короче, пропал я, братцы, пропал!..

Часа через полтора я позвонил в дверь Гаврилы Петровича и конспиративно, дабы не узрела хранительница его очага, передал ключ.

— Спасибо, — тихо буркнул я.

— Да не за что! — по-царски развел руками Гаврила и понизил голос: — Ну... там... нормально всё?

— Нормально... — потупился я.

— Э-э-х-х, какой же ты счастливчик, — покачал головой Гаврила Петрович, — как мы с Аланом Прайсом называем это — «лаки мэн», — что у тебя есть такой капитальный дружок, как я!

Я кивнул без тени иронии:

— Это точно. — И на сей трогательной ноте мы расстались.

А с Лейлой Шамсудиновной мы расстались во дворе на совсем другой ноте. Проводить себя она не разрешила, еле слышно произнесла: «До свидания, Юрий Дмитриевич...», повернулась и медленно пошла к своему дому.

А я стоял и тупо смотрел ей вслед, пока высокая точеная фигурка в легком зеленом платье не скрылась за углом...

*Всё в жизни умозрительно, сценически —
Мы, как в театре драмы и комедии,
Вдруг разыграли роли исторически,
Но только уже собственной трагедии.*

СКАЗАТЬ, ЧТО ПОСЛЕ того дня в жизни моей что-то изменилось, — значит, не сказать ничего. В ней изменилось В С Ё! И в первую очередь — я сам. Всё для меня стало теперь другим, я смотрел на всё по-другому, слышал всё по-другому — да чёрт возьми! — я и дышать-то стал, кажется, совсем по-другому!

Знаете, вот только теперь я понял истинную суть стократ высмеянного умниками-остряками коммунистического лозунга «На работу, как на праздник!». Вот он когда наступил, праздник-то! Теперь я бежал, неся, летел сломя голову — не на работу, — Н А П Р А З Д Н И К ! К богу и дьяволу всё на свете! Да пропади всё пропадом! Отстаньте, отвалите, уйдите все! Не лезьте ко мне, люди добрые! Отцепитесь, люди злые! Я — не в себе!..

Естественно, не могу стопроцентно поручиться за Лейлу, но, по-моему, и ее повело. Нас притягивало друг к другу словно магнитом, с утра до вечера мы были вместе, и только природные катаклизмы (в образе Маковкина или Преображенского) и катаклизмочки (в виде, допустим, службиста Булкова) порой разлучали нас — но ненадолго. А весна была уже в самом разгаре. Вокруг бушевал май, да какой! Всё цвело, распускалось, щебетало — и для нас. Казалось, только для нас! Как вдруг...

Как вдруг — оказалось, не только. Наша идиллия дала некоторый сбой, и «сбой» тот явился в лице... Елисея Парисыча, будь он неладен!

Однажды корпел я над виршами Александра Николаевича Маковкина, добывал последнюю принесенную им кучу — и тут раздался звонок.

Я поморщился, потому как только что с трудом отшлифовал очень непростой «куплет»:

Еще найдутся опалавленные суки
(На свете нету ничего страшней) —
Они сожрут, не попадйся в руки:
Потеха будет — не сыскать смешней, —

а следующий «куплет» был еще круче. Собирай потом снова мозги в кулак! Снял трубку:

— Да? — и услышал в ответ молодецки-бодрое:

— Привет! Это Баранов!

Ей-богу, в первый момент даже не сообразил — что за Баранов, какой такой Баранов? Но уже во второй — сообразил и снова поморщился. За всеми головоломно-судьбоносными событиями последних недель я как-то, знаете, почти и позабыл о существовании еще одного энергичного претендента на руку и сердце прекрасной Лейлы, да и отпуск его казался мне бесконечным (по личным обстоятельствам Баранов загодя взял еще и месяц без содержания). Так-так, ну и что же это му донжуану от меня нужно?..

— Привет, — нейтрально кивнул я и — дежурно: — Как дела?

И вот тут-то, признаюсь, Елисей Парисыч неслабо удивил.

Понимаешь... — после некоторой паузы произнес он. — Понимаешь, сегодня у меня день рождения (но удивил не этим, дни рождения бывают у всех), а друзей у меня нет (это точно, для дружбы Елисей Парисыч был человеком слишком специфическим), и потому я хотел бы пригласить в гости двух самых близких мне людей (любопытно, любопытно!) — Лейлу Шамсудиновну (ну, это и ежу ясно) и... И тебя. (Во как!)

Я обомлел:

— Меня?! — Слушайте, чуть не лешнул: «За что?» У нас с Барановым были обычные приятельски-служебные отношения. По работе никогда не конфликтовали, по не-работе имели даже некоторые точки соприкосновения: любили оба не только, как теперь выяснилось, Лейлу Шамсудинову, но и «Битлов», оба пописывали: он стишки, я, извиняюсь, прозу. Ну и... всё.

Короче, я жутко удивился, что попал в число Елисей Парисычевых «близких», сдержанно поблагодарил за приглашение и пробормотал что-то насчет занятости — никак, мол, к сожалению, не смогу. Пробормотал и зло бросил трубку. Не, ну на кой мне это надо? Елисей Парисыч, видать, не в курсе последних событий, был бы в курсе — не то что на день рожденья звать, в темной подворотне каким-нибудь мольбертом звезданул бы. И что, я буду сидеть там и любоваться, как он (пользуясь хирургически точной лексикой Гаврилы Петровича) бабёнку мою охмуряет? Или прямо с порога выдать сводку новостей — но можете представить, что это будет за праздник...

— Юрий Дмитрич! — На пороге кабинета стояла Лейла, и, судя по испуганно-озадаченному выражению лица, можно было не сомневаться: ей Баранов позволил тоже.

— Ну и? — скорбно спросил я. — Вы уже с подписным листом? Собираете Елисею Парисычу деньги на английский рожок?

— Да нет... Я, Юрий Дмитрич, отказалась, сослалась на какие-то дела, но вы же знаете его.

— Знаю! — рыкнул я. — Мальчонка настырный, любую уломает!

Лейла вздохнула:

— Он сказал, что стол уже накрыт, а кроме нас с вами звать ему некого. Будет звонить еще, надеется, что передумаем. Мне, Юрий Дмитрич, тоже не хочется идти. Совсем не хочется. Просто неудобно и...

— Жалко? — подсказал я.

— Да, жалко. Он такой одинокий.

— «Каждый — хозяин своей судьбы и доли своей кузнец», Лейла Шамсудиновна, — назидательно продекламировал я. — Не будь ваш пылкий обожатель таким кугутом, его дом ломился бы сегодня от гостей... — Помолчал и тоже вздохнул: — Но вообще-то, конечно, не очень хорошо получается. Ладно, Лейла Шамсудиновна, идемте. Только, сами понимаете, ситуация-то, как выражается один мой знакомый, больно уж щепетливая.

— Понимаю, Юрий Дмитриевич. Мне всё равно, решать вам.

Я развел руками:

— Не, ну сказал идем — значит, идем.

Через полчаса мы стояли на остановке. Метрах в пятнадцати вальяжно прогуливался взад-вперед старательно делающий вид, что не замечает нас, Валерий Макарович. Нет, что там ни говори, а иногда он умел быть чертовски деликатным. Подошла нужная нам (и Преображенскому, кстати, тоже) маршрутка, я было дёрнулся, но Лейла шепнула:

— Ой, пусть сначала он уедет!

Уехал. Ну и мы прыгнули в следующую и минут через двадцать сошли в Центре, почти у самого дома Баранова. Вынужденно задержались на маленький военный совет: не с пустыми же руками являться к имениннику.

— В принципе, для него, Лейла Шамсудиновна, ваш визит и так станет лучшим подарком! — пошутил я и по раздраженному взмаху длинных ресниц понял, что бездарно. Пожал плечами: — Ну что мы головы ломаем? Елисей Парисыч какой-никакой, а мужик, а для мужика традиционный подарок — бутылка. И вы что, вообразили, что он нас бургундским угощать будет? Да как пить дать, само-

палом из даров природы, произрастающих у него на даче. Так что, уважаемая, давайте, как говорит незабвенный Алексей Михайлович, не валять дурака, а просто купим бутылку приличного вина.

— И цветов! — добавила Лейла Шамсудиновна.

— И цветов, — согласился я. — Мне для вашего жениха не жалко.

В гастрономе мы взяли эффектную литровую бутылку красного «Сальвадора», а у притрогунной бабульки Лейла выбрала миленькое ассорти из простых полевых цветов. Подошли к дому Елисея Парисыча, еще сталинской пятиэтажке, вошли в подъезд, поднялись на третий этаж и позвонили.

Приветливо загромыхали крепкие запоры, защелкали замки — и виновник торжества радушно распахнул тяжелые металлические двери:

— Заходите, заходите, гости дорогие! — И так же радушно быстро за нами их запер. — Заходите! — щерясь всеми своими новыми зубами, приглашал нас мой соперник, но смотрел только на Лейлу Шамсудиновну, и как, собака, смотрел! Нет, интересно, а зачем же тогда он пригласил меня, если смотрел, собака, только на Лейлу Шамсудиновну?!

Пардон, виноват, досталось и мне.

— Поздравляем, дорогой Елисей Парисович! — Лейла протянула ему букет, и именинник со словами:

— А где же розы? — залиvisto заржал как жеребец: — Ха-ха-ха! (он всегда так ржал, и к месту, и не к месту) — и отпустил персональную пулю мне: — Цветы, видимо, выбирал Юрий Дмитрич? Чувствуется вкус. — Но ничего, в отместку, пока Елисей Парисыч шарил в недрах квартиры в поисках банки для цветов, я с минуту целовал Лейлу вzasос в губы.

Заслышав шаги хозяина, мы прекратили целоваться и, разобравшись с разнокалиберными тапочками, чинно проследовали к праздничному столу.

А стол был, доложу вам, знатный! Не Гаврил Петровичеву чета. Да оно и понятно: Елисей Парисыч, видать, решил поразить своими гастрономическими изысками Лейлу Шамсудиновну не только в желудок, но и самое сердце. В центре красовалась огромная миска рассыпчатой вареной картошки, перемешанной с тушенкой, рядом почти еще шкворчала сковорода яичницы, в которой смекалистый автор тоже понамесил всякой всячины и она чем-то даже и стала похожа на пиццу, плюс всякие-разные огурцы-помидоры-перцы из банок, но главное... Главное — у меня просто слюнки потекли — г р и б ы! Две тарелки с горкой — маринovaných опять и свинусшек. Ну, этим миляга Елисей Парисыч и впрямь угодил!

Из напитков же, как я и предрекал, в ассортименте было домашнее вино бурого цвета, и потому наш «Сальвадор» пришелся кстати. Сели, налили, подняли первый тост за славного именинника — ну и далее по программе. Мы с Лейлой были, правда, сначала немного скованы двусмысленностью ситуации, на что пронизательный Елисей Парисыч отреагировал моментально: «Эй, что случилось, ребята? Вы похожи на смущенных молодоженов!»

Мы тайком переглянулись, и я шепнул Лейле: «Ничего, шас выпьем и разоидемся, да?»

Она сердито шикнула, однако я постепенно и впрямь «разошелся»: смеялся, шутил, скамбурил наперегонки с веселым хозяином. В общем, невзирая на «молодоженский» подтекст (а может, и именно благодаря ему), лично для меня праздник удался. Напившись и наевшись до отвала, мы перешли к танцам. Баранов приволок старый проигрыватель и пластинки «Битлз», отчего Лейлу Шамсудиновну малость перекосило, но ничего не попишешь — вкусы именинника обсуждению не подлежат. А меня репертуар вполне устраивал (хотя я и невольно вспомнил душещипательный рассказ Гаврилы Петровича про Симпатию и гараж) — и мы с Елисей Парисычем по очереди кружили в рок-н-рольных вальсах Прекрас-

ную Лейлу и были оба страшно довольны. Однако музыкальные пристрастия Елисея Парисыча оказались шире моих, и когда он начал ставить Вертинского, Козина, Лещенко (Петра, не Льва), пластинку «Серенада Солнечной долины», каждую минуту с удовольствием напоминая, что эту музыку обожал Гитлер, я поскуцел.

А Елисей Парисыч — нет. Бытовой пуританин и хронический аскет, в тот вечер он, по масштабам своего дарования, здорово нарезался и просто скакал козликом. И я его в тот вечер отлично понимал: у человека день рождения, человек нарезался, играет любимая музыка, рядом вроде как любимая женщина и вроде как друг...

Да-да, праздник удался, и, прощаясь с именинником, мы от души поблагодарили его за доставленное удовольствие, а особенно за грибы. Ну, день прошел — и хрен с ним! Хэппи бэздэй ту, так сказать, ю, Елисей Парисыч!..

На улице я громко выдохнул:

— Уф-ф, — и пояснил этот свой выдох: — Слава богу, милая, отстрелялись!

Взял Лейлу за руку, но она резко ее выдернула:

— Да вы что, Юрий Дмитрич?! А вдруг увидят какие-нибудь родственники, друзья или знакомые!

Нузя я оторопел. Потом, точно отгоняя наважденье, тряхнул головой:

— Конечно-конечно!.. Извините, Лейла Шамсудиновна!..

И — молча пошел рядом.

Эх-х, «родственники, друзья и знакомые»!..

*Звериный, хищный, жёлтый, злой оскал —
И как же стал таким он супостатом?!
Слюну-отраву щедро расплескал,
Останевшим сделался пиратом.*

А ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО дней Елисей ибн Парисович Баранов явился наконец из своего долгого отпуска, и ознаменовалось сие явление весьма занятными кунштюками и финтами.

Признаюсь, ждали мы пришествия Баранова с некоторой... ну, не тревогой, нет, но какой-то неуютностью, что ли. Хотя это, может, и глупо, но было, было, знаете ли, у меня маленькое ощущение маленького... Нет, не предательства, конечно, но вроде как определенного рода свинью я ему подложил.

И вот — Елисей Парисыч явился. Мы душевно раскланялись с ним у лифта, и он погарцевал, подозреваю, в приемную. Не знаю, долго сидел там али коротко и о чем вел речь — может, читал Лейле Шамсудиновне новые любовные стихи, а может, блистал познаниями в иврите. Я ожесточенно мурыжил маковкинские вирши, а когда часа через полтора столкнулся с Елисей Парисычем в коридоре, тот продефилировал мимо меня как пустого места.

«Свершилось, — подумал я. — Вломили!..» И не ошибся. Лейла сидела за машинкой даже будто бы малость испуганная.

Я приземлился в кресло напротив.

— Ну что, дорогая, судя по всему, жених вас бросил?

Она вздохнула:

— Бросил. — И добавила: — Ох, знали бы вы, что мне пришлось выслушать.

— Да догадываюсь! — хмыкнул я. — И полагаю, в основном по поводу моей бедной персоны?

— В основном по поводу. Во-первых, вы — подонок, мерзавец и негодяй!..

— Ничего себе! — опешил я. — Так и сказал?!

— Нет, фраза была гораздо более пространный, — утешила Лейла Шамсудиновна, — а вывод следующий: стоит только порядочному и благородному человеку на пять минут отлучиться, как обязательно найдется подонок, мерзавец и негодай, который ястребом спикирует на... — Замялась.

— Оставленное без присмотра имущество? — помог я.

— Ну, вроде того, — поморщилась Лейла.

— Прекрасно, — пробормотал я. — Изумительно! Оказывается, я — подонок, мерзавец и негодай.

— Да, еще и сволочь, — вспомнила Лейла Шамсудиновна.

— И сволочь, — кротко согласился я. — Ладно. Давайте пункт номер два.

— В смысле? — не поняла Лейла.

— Ну, вы сказали: во-первых, я — подонок, негодай, мерзавец и сволочь. А во-вторых?

— А во-вторых, вы — никудышный писатель и бездарь, который никогда не напишет своего «Гамлета».

Некоторое время я молчал. Потом ошарашенно покачал головой.

— Что, прямо так и врзал?

— Прямо так.

— М-да-а... — И знаете, вот тут я все-таки обиделся. «Подонок», «сволочь» и «мерзавец» — это ладно, а вот когда тип, еще месяц назад рассыпавший тебе литературные комплименты, заявляет вдруг, что ты бездарь...

М-да-а... Вот что, как выражается Гаврила Петрович, делает с людьми эта самая любовь...

*История трагически вершится,
Она воплощена в судьбе, незримая.
И есть, поверьте мне, чего страшиться —
Везде кипит грызня непримиримая.*

ИТАК — СЛУЧИЛОСЬ! Валерий Макарович мужественно и официально заявил Лейле Шамсудиновне, что ни на какую сессию ее не отпустит. Вернувшись от него в приемную, она даже капельку поплакала, а потом жалобно спросила:

— И что мне теперь, Юрий Дмитриевич, делать? Увольняться?

Но я ответил, что увольняться — слишком много для Преображенского чести и что утро вечера мудренее.

— Да не волнуйтесь, — утешал я ее. — У Валерия Макаровича семь пятниц на неделе, и не известно еще, какой фортель он выкинет завтра.

И — точно в лужу... Ой, простите, точно в воду глядел. Нет, Преображенский не объявил с утра, что Лейла может со спокойной душой отправляться на сессию. Зато он собрал всю нашу славную рать и обнародовал свое гениальное изобретение на ниве экономии фонда оплаты труда.

— Коллеги! — пронизательно вглядываясь в душу каждого, торжественно изрек Валерий Макарович. — Друзья! В связи с... м-м-м... непростым финансовым положением издательства должен сообщить вам следующее. Начиная с сего дня, любой сотрудник может отправляться в отпуск без сохранения заработной платы... — Обвел потрясенных очередным величием его очередного замысла подчиненных орлиным взором и уточнил: — Хоть на неделю, хоть на месяц, хоть на полгода. Всем ясно?

По воцарившейся тишине стало ясно, что, похоже, ясно. А кому и не было ясно, невольно разъяснил Ручкин, тоненько прошелестевший: «Пипец!..», после чего уж точно всем стало ясно.

— Ну, вот и всё, что я имел вам доложить, — полупоклонился Преображен-

ский, и вдруг: — Ах да! — Скорбный кивок мужественной головы. — Вчера Алексею Михайловичу сделали наконец оч-чень тяжелую операцию... Уж и не знаю... — И еще скорбнее развел мужественными руками.

Когда мы нестройным табунком возвращались на рабочие места, Ручкин повторил свой «Пипец!» уже во весь голос, а я негромко сказал Лейле Шамсудиновне на ушко:

— Ну вот, милая, ваша проблема и разрешилась сама собой.

— Так вы считаете, мне надо уйти «без содержания», Юрий Дмитрич?

Я подтвердил:

— Считаю. Но разумеется, не на полгода, а всего на месяц. Спокойненько, без нервотрепки подготовитесь, сдадите свои зачеты-экзамены и вернетесь. К тому же, обратили внимание на эпитафию, которую Преображенский пропел Бочарову? Всё. Он железно уверен, что на работу тот больше не выйдет, а значит, сейчас грядет следующий этап его землеройной деятельности. Приказ о возложении на себя обязанностей директора он уже сляпал, теперь начнет их на себя усиленно возлагать. Он же нам, бедным, все мозги забьет. Ох, милая, да честное слово, я вам даже завидую...

В приемной заверещал телефон, и трубка голосом Валерия Макаровича велела Лейле Шамсудиновне пригласить к нему Юрия Дмитриевича.

Лейла Шамсудиновна пригласила.

— Садись, Юра, — дружески указал на стул Преображенский.

Я сел, ожидая продолжения.

И оно последовало. В обыкновенной Валериемакарычевской манере: минут на десять увертюра, включающая в себя трогательные рассуждения о смысле жизни и нравственности, попутное кормление голубей, и...

И вдруг:

— Ты думаешь, я рад тому, что случилось? — Жесткий и довольно неожиданный вопрос.

— В смысле? — не понял я.

— В смысле моего директорства, — сухо проговорил Валерий Макарович. — Наверное, считаешь, что сплю и вижу, как бы занять это кресло?

— Да ничего я не считаю, — проговорил я так же сухо. — Это абсолютно не мои проблемы.

Преображенский покачал головой:

— Э, нет, Юрий Дмитриевич, теперь и твои. И чтобы между нами всё было предельно ясно, скажу следующее. Первое: время, когда я действительно мечтал стать директором, в прошлом... Да-да, поверь уж. Мне шестьдесят, и прежние честолюбивые амбиции давно позади, понимаешь? Они ушли, перегорели, и единственное, что волнует меня теперь, — это судьба издательства. Извини за высокопарные слова, но я ощущаю некую свою миссию, если хочешь, даже призванность — я должен спасти и сохранить издательство, должен, так сказать, возродить его! Желаете что-нибудь спросить?

Я кивнул:

— Да. А второе?

Он снял очки. Потом снова надел. Потом медленно покачал головой:

— А второе, Юрий Дмитриевич, то, что, как бы ни складывались до этих пор наши отношения, учти, что отныне тебе придется работать со мной.

Я с понтом удивился:

— Но я вроде и так работаю с вами! — И подумал, что сейчас он снисходительно улыбнется.

Но он не улыбнулся. Он немного помолчал и негромко проговорил:

— Юра, повторяю еще раз: отныне тебе придется работать со мной... Теперь, надеюсь, ты понял?

— Теперь понял. — Я встал. — Это всё, Валерий Макарович? Можно идти?

На сей раз он пожал плечами:

— Иди. Всё. — Добавил: — И надеюсь, ты хорошенько подумаешь. Ты же все-таки не... Ручкин.

— Это вы насчет реплики из зала? — уточнил я.

— И насчет нее тоже, — кивнул Преображенский.

Я вернулся в приемную, сидел минут десять с Лейлой Шамсудиновой и полпелся догрызать канцоны Маковкина, не переставая умиляться перлам типа:

Меж ног моих, струясь и ликуя,
Блестя на солнце, ручеек бежит.

И знаете, как не хотелось уродовать такие шедевры! Вот и теперь со страшным сожалением исправил «меж» на «у».

Нет, поэзия — ужасная штука! И... кажется, заразная. Почему?

Да потому, что я сам стал писать стихи. Стихи, извиняюсь, о любви.

До сих пор не в состоянии реально оценить их — хорошие или плохие. Сам автор здесь, как правило, слеп. Но тут же еще и подстегивал пример жизни и творчества Елисея Парисыча, начавшего посвящать Лейле Шамсудиновой стихи гораздо раньше меня, и, сколь ни странно может показаться, — Александра Николаевича Маковкина. Нет, люди добрые, думал я, ну неужто же парень, «обделавший как положено» пару тыщ чужих «куплетов», не сочинит пару десятков своих собственных?! И — сочинял. Вот так вот.

А день тот шел обычно и заканчивался вроде бы обычно, но...

Но недооценил я коварства Валерия Макаровича, ох, недооценил! Я-то, наивный, считал: ну поболтали, ну и что, не первый же раз! А Преображенский-то, змей, видать, ждал. Ждал моего ответного шага, шага навстречу. И — не дождался. И — нанес мне удар, да какой! Ниже пояса. Гора-а-здо ниже! Короче, на исходе дня он опять вызвал меня к себе и спросил. И опять — совершенно неожиданно.

— Ты, Юрий Дмитриевич, в отпуск собираешься?

Я растерялся. Подумал, что это он о последнем своем изобретении, «без содержания». Разлучить меня с Лейлой решил, гад!..

— Н-ну... в общем-то, собираюсь... — судорожно пытаюсь сгрести в кучку разбегающиеся мысли, проямлил я.

— Когда?

— Ну-у... не знаю... в июле-августе... — Однако смекнул, что речь, похоже, не о «б/с».

— Так вот, Юрий Дмитриевич, — жестко и официально произнес Преображенский. — Я решил, что в целях экономии редакторы у нас должны стать еще и наборщиками. Сами будут набирать текст и сами же, походя, его редактировать. И начать я решил с тебя...

И я всё понял.

И — задрожал.

И дальнейшие слова Валерия Макаровича уже не явились для меня новостью.

— Завтра, Юра, ты узнаешь телефоны и адреса курсов по подготовке специалистов по работе на компьютере. Выберешь, где подешевле, возьмешь в бухгалтерии деньги, оплатишь — и вперед! Осваивать современную технику! Эй, чего помираешь? Да ты ж меня за это потом еще и благодарить будешь. Скажешь: «Ну, спасибо вам, Валерий Макарович!»

Я фыркнул:

— Да чё ж потом-то? Я прямо щас и скажу. Ну, спасибо вам, Валерий Макарович!..

«Гм, походя...»

*И мне касаться страшно этой темы:
Лечить такой недуг врачи не властны.
Подвержены болезни той не все мы,
Но те, кто ей подвержены, — несчастны.*

ТРУДНЫЙ ДЕНЬ ЗАКОНЧИЛСЯ. Лейла Шамсудиновна (счастливая студентка) упорхнула домой, а я сидел в кабинете мрачнее тучи. Приказ Преображенского о компьютерных курсах, ей-богу, поверг меня в шок. Почему? Да потому, что, выражаясь словами одного знакомого, я с молоком матери и пивом отца всосал жуткое отвращение ко всему, хотя бы мало-мальски связанному с техникой. Другой знакомый вообще сказал, что в моем случае имеет место «ярко выраженный технический кретинизм».

Замечу, что я одинаково ненавидел все области техники: и электроприборы, и всевозможные машины, аппараты и механизмы. Помню, классе в седьмом выклянчил у родителей мопед (видать, помраченье нашло). Мне купили новенькую красную «Тиссу». Сперва я катался на ней по узким улочкам и переулкам нашего тихого «частного сектора» до упаду, до одури, до самозабвенья. Но потом «Тисса» начала периодически ломаться, и друзья-приятели мне ее чинили. Они чинили, а я стоял рядом, а после давал тем, кто чинил, прокатиться в качестве платы за ремонт. А потом...

А потом пришел один парень и, зная (собака!) истинные мои наклонности, попросил «Тиссу» на час, пообещав за это «Трёх мушкетеров» в «виньетке». Библиоманы поймут: «виньетки», книги из серии «Библиотека приключений и научной фантастики» были тогда страшным дефицитом. И я стал обладателем ярко-оранжевых с золотым орнаментом «Трёх мушкетеров».

Вот это — действительно счастье! И — пошло-поехало. «Тисса» почти не простаивала без дела, а наша с моим лучшим другом Игорем, с которым мы дружили лет с четырех и всегда всё делали вместе, библиотека стремительно пополнялась «виньетками». И вот пару сезонов я эксплуатировал свою «Тиссу» таким манером, собрав приличную библиотеку фантастики и приключений, а когда бедняжка почти сдохла от перенапряжения, загнал ее с разрешения родителей за полмагазинной цены одному из ребят, у которого в отличие от меня руки росли откуда положено. На том фактически и завершилось мое общение с техническими транспортными средствами.

А боязнь электричества, как теперь, с высоты относительно уже мудрых лет, понимаю, уходила корнями в два еще более ранних факта биографии. Факт первый. Лет в пять, понаслушавшись наставлений о том, что нельзя совать пальцы в розетки и патроны, я, когда никого не было дома, естественно, решил выяснить, почему нельзя. В розетку палец не влез, и тогда я, маленький пытливый карапуз, подтащил под абажур стол, водрузил на него стул и, взгромоздившись на эту головокружительную конструкцию, выкрутил лампочку и — храбро сунул пятерню в патрон.

Ощущения непередаваемые, ни словом, ни пером. Но кто это делал — посочувствует. В миг единый меня ураганом смело со стола и стула и зашвырнуло в угол комнаты. Я лежал на полу контуженный и ревел, заливаясь слезами, пока на рев не прибежала из сада бабушка, которая видела еще Николая Второго и Ленина, и вдобавок ко всему слегка выпорола юного естествоиспытателя, дабы не производил подобных экспериментов впредь.

И, слегка выпоротый и отнюдь не слегка долбанутый током, юный естествоиспытатель действительно запомнил тот случай надолго. И не производил подобных экспериментов лет пять, пока мы с Игорем не проштудировали «Открытие Рафлза Хоу» Конан Дойла, где описывался процесс добычи золота путем пропускания электрического тока через свинец. Способ этот показался очень простым и

перспективными: было бы свинца побольше. А свинца у нас было много, килограммов пять точно, так что в случае успеха наши семьи были бы обеспечены материально на всю оставшуюся жизнь. Даже прикинули, что школу-то, для профформы, наверное, дотянуть все же придется, но вот учиться дальше и тем паче работать совершенно ни к чему.

Итак, мы взяли провод с вилкой, заголили конец и обмотали проводом кусок свинца граммов на двести-триста. На первое время хватит, решили, протянули во двор удлинитель, положили будущий слиток на землю и воткнули вилку в розетку.

Провод и свинец стали слегка потрескивать. Минут через двадцать показалось, что свинец вроде желтеет, но не сильно. Мы вспомнили, что, согласно первоисточнику, свинец должен сначала превратиться в висмут, потом во что-то еще, потом в ртуть и уж только потом в золото. Значит, скоро висмут, но тут подошло время возвращения с работы родителей (кстати, им скоро тоже совсем не обязательно будет работать), и мы свернули аппаратуру до следующего утра — какие же уважающие себя исследователи демонстрируют посторонним свои секретные опыты? Ну а утром...

Ну а утром, не дождавшись Игоря, — невтерпеж же! — я решил скорее продолжить нашу, извиняюсь, трансмутацию, и... И, пребывая, видимо, в определенного рода эйфории, — висмут же уже на носу! — взял в одну руку почти висмут, а в другую вилку и ничтоже сумняшеся вставил ее в розетку.

...Господи, даже сейчас мурашки по телу!.. Поверьте, все электротехнические мытарства пятилетней давности оказались сущей мелочью в сравнении с тем, как шарахнуло меня от «почты висмута». Руку вмиг свело страшной судорогой, и я орал благим матом и мотался вокруг розетки на проволоке, как пёс на цепи, потому что не мог разжать пальцы. Слава богу, в какой-то момент осенило — дёрнуть от розетки бегом, и я побежал и просто вырвал из нее шнур. В себя пришел с великим трудом, и когда заявился Игорь, мой меркантильно-исследовательский пыл уже почти совсем угас.

Однако Игорь утешил, напомнив другой рассказ того же сэра Артура Конан Дойла, через героя которого на электрическом стуле пропускают мощный разряд тока, и он становится бессмертным.

Но утешил не слишком. Тот удар я запомнил навсегда, тем более что золота мы так и не добыли, только чуть не убили соседского кота-подростка, который перелез через забор, привлеченный искорками и потрескиванием нашего агрегата, ткнулся в свинец носом и не стой меня с дикими воплями как на крыльях переманул обратно через забор, и снова мы увидели его только через неделю, отощавшего, измученного, какого-то перекоsobоченного и с идиотски выпученными глазами. Нашим же родителям пришлось работать и дальше, а нам с Игорем не только заканчивать школу, но и заботиться впоследствии о снискании хлеба насущного. (Да и насчет бессмертия, подозреваю, я тоже пролетел.)

Ну? Теперь-то вы понимаете, что моя ненависть к технике базировалась отнюдь не на пустом месте и отчего я сделался столь отпетым гуманитарием? Равно как и то, с каким ужасом воспринял приговор о компьютерной ссылке. Ну, Преображенский!..

Однако ничего не попишешь: подчиненный полагает, а начальник располагает. На следующий день я нашел по телефону приемлемые по цене курсы, при университете, взял в бухгалтерии деньги, съездил заплатил, и... с понедельника должна была начаться моя горемычная компьютерная эпопея. А у студентки Лейлы Шамсудиновны с понедельника начинался месячный отпуск «без содержания»: ее заявление Валерий Макарович подмахнул с превеликим удовольствием. Еще бы, такая экономия фонда оплаты труда!

Ладно, учись, милая, учись!

Ну что ж, и я тоже попробую. Эх-х-х!..

*Где мы только с вами не бывали —
Аж по облакам пешком ходили.
Крест на верность в клятве целовали,
Мост в миры другие наводили...*

НУ И ПОПРОБОВАЛ... Ой, даже не стану особо расписывать — подобного стресса я не испытывал давненько. Может, только в армию уходил (да и еще, по секрету, в тюрьму лет двадцать назад чуть не сел за глупую драку) в схожем состоянии духа. Кому из знакомых жаловался на свои мытарства, отмахивались: «Хватит дурака-то валять!» А я совсем не валял, а — и ощущал себя, и, главное, был на этих проклятых курсах самым настоящим дураком. В группе, кроме меня, штук двенадцать тинейджеров обоего полу, и как же лихо, щенки, они всё схватывали! А преподавательница (годиков на шесть-семь моложе меня), маленькая, тоненькая, с глазами, полными желанием помочь и искреннего непонимания, как же такие простые вещи не доходят, похоже, врубилась в стопроцентную мою неспособность к овладению компьютером уже в конце первого дня. Она задержала меня после занятий и очень душевно спросила:

— Юрий Дмитриевич! Да что ж это вы? Да как же это вы, а?

И я кратко объяснил, что я и как.

— Но зачем же тогда, Юрий Дмитриевич, вы вообще сюда пришли?

Я лишь горько улыбнулся.

— А затем, что начальник пригрозил не пустить в отпуск, пока не принесу «корочку» об окончании курсов. Так-то вот... — И утробно вздохнул.

Она тоже пригорюнилась, потому что была хорошим человеком и любила свой предмет. Помолчала и тихо сказала:

— «Корочку», Юрий Дмитриевич, вы, конечно, получите, зачет я поставлю, но знаете, всё это мне не слишком приятно.

Я вздохнул еще утробнее:

— А знали бы вы, как всё это не слишком приятно мне...

Однако на определенном этапе обучения она, слава богу, успокоилась, а я успокоился еще раньше.

Но я-то успокоился еще и почему? Да потому, что из любой неприятности можно извлечь какую-нибудь приятность. И я — извлек. И не одну.

Приятность первая. Не самая главная. Занятия шли с девяти утра до часу дня, а затем — свободен. А на улице-то лето. И какое! Ясное! Жаркое!

Приятность вторая. Самая главная. Каждый день после занятий я встречался с Лейлой Шамсудиновой, которая с утра тоже грызла свои экономические науки, а потом мы отправлялись загорать или купаться. Загоральных вариантов было множество, а купальных два. Один — те самые озера, на которых Сашка Майоров охотился с немецкой рогаткой с прикладом на уток. Там было совершенно безлюдно: прибрежный песчаный каньон с почти «Сталкеровским», только ярким, солнечным, пейзажем. И там произошли два примечательных казуса. Казус первый. Когда мы с Лейлой Шамсудиновой обнимались и целовались на траве, промеж нас преспокойненько прополз громадный уж, и Лейла Шамсудиновна завизжала так, что я едва не оглох, а она в тот день не смогла уже больше ни целоваться, ни обниматься. И казус второй. Когда мы в другой раз не только целовались и обнимались, а потом я встал и случайно шагнул к ближайшему кусту, оттуда выскочил уже не уж, а абсолютно лысый мужик и опрометью бросился прочь. Я с интересом наблюдал, как он метров сто несся по «каньону», аж пятки сверкали, а после вскарабкался на бугор и скрылся за горизонтом. Лейла же Шамсудиновна его не видела, и, возможно, поэтому, когда я сообщил ей о бегуне,отреагировала на него гораздо спокойнее, чем на несчастного ужа.

Но любимым был у нас второй вариант. Рядом с городской окраиной, на холмах у старого русла одной из главных рек Восточно-Европейской, так сказать, равнины раскинулось красивое село Подгорное. И до него ходил трамвай. Мы садились в вагон и через десять минут выгружались в Подгорном. Старушки кондукторши нас уже знали, здоровались и улыбались. Может, потому, что в отличие от некоторых иных пассажиров билеты мы брали и правил поведения в общественном транспорте не нарушали.

Выйдя на конечной, спускались по улице к реке и располагались на травке у воды. Вода в старице была чистая, прохладная — наплаваемся и на солнышко брык. Красота! Легкий стол, легкий походный флирт, изредка нарушаемый появлением местных людей или коров. А на кувшинках и ряске загорали лягушки, и были они такие разные, такие смешные, что:

— Смотрите, Лейла Шамсудиновна, — показал как-то я пальцем на одну. — Смотрите — важная, толстая... Никого, часом, не напоминает, а?

В итоге мы обнаружили в этом лягушачьем царстве дублеров на весь наш доблестный коллектив. Толстая и важная — это, естественно, Алексей Михайлович, поджарая и жутко серьезная — Валерий Макарович, маленькая и пугливая — Булков, тощая и ершистая — Баранов, ну и так далее. Справедливости ради я и себя там нашёл, однако же Лейла Шамсудиновна от подобных аналогий в свой адрес отказалась категорически.

Ах, чёрт, ну как же там было здорово! Честное слово, в такие минуты я даже искренне был благодарен коварному Валерию Макаровичу за то, что сослал меня на курсы. И как замечательно было нежиться на горячем солнышке, попутно представляя наших бравых сотрудников, парящихся в бетонных коробках своих душных кабинетов где-то далеко-далеко, совсем в другом мире, другом времени, и вообще — в совсем-совсем другой жизни!

И наверное, все эти переполнявшие меня эмоции и чувства в какой-то момент переполнили меня через край, и я выдал однажды из самых глубинных недр своей вконец обалдевшей души следующий опус.

Лето. Солнце. Я иду
Путь-дорожкой торною.
Вот пришёл. Стою и жду.
«Хорошо б в Подгорное!»

Вы! Ко мне! Глаза как нож,
Брови — стрелы чёрные.
Ослепительны как брошь.
— Здравствуйте... В Подгорное?

ТТУ³ сварганят план
Бабушки проворные.
Наш стремительный роман
Нас несёт в Подгорное.

По долинам и холмам
Тропочкою горною
Вы скакали, как джейран, —
Расступись, Подгорное!

Синева и лес вокруг.
Рядом детский ор, но я
Вижу вас лишь, милый друг,
И (чуть-чуть) — Подгорное.

³ Трамвайно-троллейбусное управление. (Не, ну понятно, не Пушкин!)

Ой! Нашествие коров
С пастухом-дозорным. И:
— Будь здорова!
— Будь здоров!
Будь и ты, Подгорное!

Всем лягушкам — имена.
Эх! Квакушка вздорная
И не знает, что она
Нам как герб Подгорного.

Солнце, воздух и вода...
Что, волки позорные?!
Не добраться никогда
Вам сюда, в Подгорное!

...Вечер. За окошком тьма.
Где вы, брови чёрные?..
Ты свела меня с ума.
Я!

ХОЧУ!!

В ПОДГОРНОЕ!!!

...По истечении двух недель «обучения» я стыдливо получил свои «корочки» и торжественно предъявил их Валерию Макаровичу. Мои компьютерные университеты закончились, и начались суровые трудовые будни.

А впрочем, никакие не суровые.

И не начались, а продолжились.

*А в тех годах промчавшихся, «застойных»,
Что за плечами нашими остались,
Мы вспомним о деяниях достойных,
Что нам в наследье светлое достались...*

НУ, В ОБЩЕМ, ЖИЗНЬ потекла дальше. Я как угорелый встречался со студенткой Лейлой Шамсудиновой, однако волей-неволей приходилось заниматься и более прозаическими вещами: редактировать Маковкина, другие рукописи и иногда, урывками, кропать свое.

Конечно, с вторжением в мою биографию Лейлы писать я стал реже, но совсем не бросил. Заканчивал потихоньку продолжение вышедшего в моей первой книжке «ужастика» «Луна светит мёртвым» под названием «Перстень Вельзевула», а как-то, по брякнувшемуся, видать, из эгрегора вдохновенно, за пару рабочих дней накатал небольшую повестушку о своем первенце «Космическом Волке» (где Бздун-Вольдемар, помните?), которую назвал идиотски-загадочно — «Жапирианские хроники».

Однако в некий момент мое почти безоблачное существование было опять грубо нарушено. И опять Валерием Макаровичем. Правда, на сей раз он послал меня не на курсы, а в Москву, отвезти какие-то документы в наше министерство. Радость, разумеется, невелика, но ничего не попишешь: простился с Лейлой Шамсудиновой и уехал. Ночь в поезде, а утром уже Москва. Выйдя из здания вокзала, нырнул в метро; двадцать минут — и вот оно, родное министерство. За следующие двадцать передал куратору издательства документы — и всё, свободен. Но поезд-то только вечером.

Чтобы убить время, сходил в зоопарк. Я всегда хожу в зоопарк, когда бываю в Москве. Невзирая на частые посещения, Москва так и осталась для меня чужим,

тяжелым, каким-то давящим и морально, и физически городом, да и с животными я чувствую себя почему-то комфортнее, нежели с людьми. Поглазель на птиц и зверей, посидел на лавочке возле слонов, потом — тигров, потом — волков. Очень мне, знаете ли, нравятся волки. Лейла Шамсудиновна спросила как-то, что мне нравится в жизни, в природе, ну, вообще. Ответил не задумываясь: ночь, Луна, волки. Может, потому я и сочинил книгу, главные персонажи которой именно Луна и волки, точнее — оборотни, и главные события которой происходят по ночам. (Между прочим, в голову даже пришли когда-то душешипательные строчки:

Я боюсь не ножей — оков.
Я люблю не людей — волков.
Как рычал бы я на Луну,
Рвал клыками ночи тишину!.. —

ну и еще была там пара «куплетов» подобной ахинеи. Но это так, к слову.)

Однако сколько же можно сидеть даже и возле волков? Вышел из зоопарка — до поезда еще целых полдня. Почесал затылок, а потом махнул рукой, купил бутылку водки и дунул на улицу Немировича-Данченко, к Всеволоду Абдулову, замечательному, любимому мною с детства (между прочим, из-за великого спектакля «Соло для часов с боем») актеру, другу самого Владимира Высоцкого, с которым мы когда-то издавали первую в стране «толстую» книгу песен и стихов Владимира Семёновича «Не вышел из боя».

Знакомый серый каменный дом на улице Немировича-Данченко, знакомый подъезд, дверь всё с той же медной табличкой «Осип Наумович Абдулов» (Народный артист РСФСР, отец Всеволода)...

Звоню.

Голос жены Севы — Лены:

— Кто?

— Свои!

— Послушайте, — достаточно нервно. — Или говорите, кто вы, или уходите!

— Да я это! — растерялся. — Я. Юра. Из Чернозёмска...

Дверь распахнулась. На пороге улыбающаяся Лена, и голос Всеволода из глубины квартиры:

— Лен, кто там?

Она, вместо ответа:

— А догадайся. Я что вчера на Арбате купила, и кого мы вспоминали?

— Ну, дореволюционные открытки с Чернозёмском... Юрка, что ли?!

Лена кивнула:

— Юрка. Покупка в руку. — И мне: — Да заходи, чего стал. И учти, что на «своих» в Москве уже давно не открывают.

— Учту.

Я вошел, и ко мне, опережая хозяина, бросилась целоваться старенькая спаниелька Майка, которая, когда мы начинали работу над книгой, была еще баламутным полугодовалым щенком.

Ну что сказать? Посидели неплохо. Я водрузил на стол бутылку, Сева — другую, а Лена быстро приготовила в микроволновке курицу и прочую закуску (не в микроволновке). Ну и выпивали, вспоминали, как корпели над рукописями и верстками, болтали о всяком-разном.

— Да, Юрк! — хлопнул вдруг себя по лбу Сева. — Чуть не забыл. Я ж теперь пенсионер! — И, точно в доказательство нового собственного социального статуса, сделал на подлокотниках кресла «крокодила» (помните знаменитый энгибаровский трюк?). Я б так не смог и в лучшие свои годы.

— Понял? — озорной прищур.

Я только руками развел:

— Понял...

— Ну вот, из театра уволился, но работы и без того невпроворот: на радио, дубляж и озвучка художественных, телевизионных, мультфильмов...

— Да! — хлопнул вдруг себя по лбу и я. — Тоже чуть не забыл! — И преподнес хозяевам «Луну...», которую захватил в дорогу на всякий случай, — и видите, пригодилась. Сидел, разговаривал и жалел, что рядом нет Лейлы, — вот бы посмотрела, какой у меня в столице приятель: известный на всю страну, знавший столько великих и знаменитых людей. Да он, между прочим, ребенком даже на колених у Ахматовой баловался, понятно?

Но, как говорится, сиди не сиди, а уходить всё равно надо. Когда до поезда осталось полтора часа, я встал из-за стола, попрощался с хозяевами, поблагодарив за гостеприимство, и в несколько приподнятом состоянии поехал на вокзал. Доехал, сел в поезд, а потом лег и уснул, а проснулся уже в Чернозёмске. Выбежал из вагона на привокзальную площадь, позвонил из автомата: «Милая, я вернулся!» — и понесся в беседку детского сада возле ее дома, один из моих караульных постов. Мне казалось, что мы не виделись год, а не всего-то тридцать шесть... нет, тридцать пять с половиной часов...

*Свою имел на всё он точку зренья,
А под ногами твердь земную, как опору.
Никак не жаждал злого примиренья,
Душою презирал всю эту свору.*

Я СИДЕЛ, ПЕНЁК ПЕНЬКОМ, над маковкинскими катренами, чего-то там зачеркивал, подписывал, лепил и перелепливал. И наверняка долго бы еще лепил и перелепливал, если бы со стороны распахнутой из-за нестерпимой духоты в коридор двери не раздался зычный командирский голос:

— Смир-р-рна!

Я вытаращился в направлении этого голоса и узрел живую легенду издательства. В разверстом проеме двери, картинно опершись о косяк, в элегантной «тройке», сногшибательном галстуке и умопомрачительных «корах» стоял бывший Герой Союза, бывший майор «Альфы», участник штурма дворца Амина и еще множества подобных «миротворческих операций» по всему свету, мастер экстра-класса по рукопашному (и не только рукопашному) бою, бывший бандит и авторитетный специалист в сфере изъятия денежных знаков из сберегательных касс бывшего же СССР, бывший уголовник-рецидивист, проведший немало лет в зонах особого режима, а ныне известный писатель, автор криминальных романов, которые продаются по всей стране на каждом углу, Глеб Бабин.

Я поднялся из-за стола и шагнул к двери, а он шагнул от двери к столу, и под его приветливое:

— Здорово, фраер! — мы обнялись.

Знаете, если книга Высоцкого «редакторски» стала, пожалуй, книгой моей жизни, то Глеб, тоже «редакторски», стал, наверное, автором моей жизни. Потому что я как бы «открыл» Бабина: был редактором первой его книги, которую очень скоро заметили в Москве, и все последующие романы обладающего поразительной творческой скорострельностью Глеба печатались уже в солидных столичных издательствах. Как пошутил кто-то из знакомых: с моей легкой руки Глеб Бабин вторично в своей биографии вышел на большую дорогу. Теперь — литературную.

Однако и не только поэтому. Ни с одним своим автором я не общался в процессе «работы над рукописью» столь плотно и многогранно. Года на три-четыре старше

Меня, высокий, атлетически сложенный, с выразительными чертами лица, шапкой темных жестких волос и пронзительным взглядом черных глаз, Глеб был фигурой весьма колоритной. Сегодня я впервые увидел его в цивильном костюме, в адрес которого сам он, впрочем, сразу же выругался матом: мол, пришлось, сука, напялить из-за какой-то там светской тусовки в Москве, куда он едет сейчас на машине. А я, признаюсь, услышав про машину, вздохнул с облегчением, потому что собирался уже было, как Шурик в «Кавказской пленнице», достать из стола стакан и обреченно дунуть в него. Пронесло.

Да, наше тогдашняя «работа над рукописью» оставила в моей памяти неизгладимый след. Мы упорно «работали» весь период редактуры, потом — набора, всевозможных версток, сверок, оформления обложки, сдачи книги в производство, ожидания ее выхода из типографии, самого выхода...

Рождение первенца Глеб ознаменовал неслабым мушкетёрским застольем в издательстве, и мы с ним еще дня три потом не просыхали. Да он со своим кипучим темпераментом и вполне объяснимым авторским восторгом просто не давал мне просохнуть. Всего же у нас на ту, первую его книгу ушел почти год, и чего ж только в тот год не вместились: от газетных, радио- и телеинтервью с энергичным начинающим писателем и его редактором (я организовал настоящую рекламную кампанию восходящей звезды российского детектива) до самых разных походов писателя и редактора в самых разных районах Чернозёмска и многочисленных «творческих встреч» с не очень пока широкой читательской аудиторией. Аудитория, потому что Глеб проживал в другом городе, состояла из числа моих знакомых, причем весьма разноплановых, и однажды Глеб (разумеется, рисуясь) с пафосом изрек:

— Ну, сударь, и друзья у вас!

Домой он уехал тогда по истечении нескольких дней, забыв в ящике моего письменного стола «ТТ», вернулся за которым лишь через полмесяца. Но «ТТ» — ладно, однажды он забыл там гранату, и я неделю трудился над рукописями тихо и осторожно-осторожно, боясь лишний раз пошевелиться, чтоб, не дай бог, не рванула.

Общались мы и после выхода книги. И чисто дружески (впервые в издательстве он появился без гроша в кармане, и я помогал ему, чем мог, а когда у нас пришли нелегкие времена, наступила его очередь), и не чисто. Я, повторюсь, свел Глеба с московскими издателями, и он вскоре буквально попер в гору. Сам же...

Сам же в свойственной ему безапелляционной манере заявил мне:

— Слышь, ну чё ты всё хрень какую-то сочиняешь? «Фантастика», «мистика»... Да сегодня никому это на хрен не нужно! Ты лучше детектив или боевик напиши. Сюжет подбросить?

Но я тогда гордо ответил, что детективов писать не собираюсь, боевиков тем более, мне это абсолютно не интересно, а сюжетов и своих хватает.

Он только хмыкнул:

— Ну и дурак! В Москве б без базара напечатали.

На том разговор закончился, но, похоже, на какой-то крючок он меня подцепил: не сразу, может, через год, а может, и два, но я ощутил вдруг характерный творческий зуд и понял, что хочу попробовать написать именно детектив. И — попробовал. И — написал. И не один, а два, с общим главным героем. И потому как честный человек я непременно должен сказать, что без столь тесного общения с Глебом, товарищем весьма сведущим в различных проявлениях далеко не самых светлых сторон нашего бытия, романы те наверняка во многом бы проиграли... Хотя стоп! Чего это я развыдывался? Они ж покамест ничего и не выиграли, а единственным их читателем был пока только ревнивый двуликий परिवёртыш Елисей Парисович Баранов.

Глеб покуртил головой и ослабил узел своего шикарного галстука:

— Замахался, блин, в этой гадской сбруе!.. — Раньше он и зимой и летом ходил только в камуфляже и берцах.

— Привыкай, — развел я руками. — Ты теперь этот, светский лев, и обязан соответствовать.

— Ага, — согласился он. — Точно, твою мать, обязан!

(Из всех моих знакомых второго такого сквернослова я, пожалуй, и не припомню. Хотя нет — припомню. Святослав Дегтярёв. Ну а что. Всё правильно и органично. Оба — знаменитые писатели. Мастера, так сказать, художественной речи.) Закурили.

— Это сколько ж я у вас не был? — прищурился Глеб. — Года два?

— Да около того, — кивнул я.

— Ну и как жизнь? Как Джон? (Они знакомы.)

— Процветает, — помрачнел я, вспомнив последнего, позавчерашнего, порванного моим выкорышнем добермана.

— Эй, а детектив-то так и не написал? — встрепенулся Глеб.

— Написал, — скромно сказал я, и он, по-моему, здорово удивился.

— Чё, в натуре?!

— В натуре, — подтвердил я. — Даже два.

— Ну, путём. — хмыкнул он. — А то я уж боялся, ты совсем протух в этом болоте.

— Я тоже, — признался я, — но оказалось, что еще не совсем.

— Зашибись! — похвалил он. — А тут-то как дела? Преображенский всё в шахматы режется?

— Режется.

Глеб зевнул.

— Ну, значит, и впрямь ничего нового...

— Юрий Дмитрич! Ой!.. — У двери стояла Лейла, невероятную фигурку которой чуть портило мини-нечто, и ястребиные глаза Бабина стремительно полезли из орбит. — Ой! Извините... я потом... — И Лейла исчезла. (Вообще-то она пришла сегодня, чтобы написать еще одно заявление на «б/с», еще на месяц. Ну вот, пришла — и нарвалась на стихийное бедствие.)

— Э, фраер! — Глеб вскочил, как ошпаренный, едва не опрокинув стул. — Ты чё?

— А чё? — не понял я.

— Да чё ж базарил — ничё нового?! А — это? — потрясенно мотнул он буйной головой на дверь. — Это чё?

— А-а-а, это... — У меня ревниво засосало под ложечкой. — Это... относительно новая секретарша Бочарова, — пояснил как мог равнодушно.

— Да это для тебя, бюрократ позорный, — «относительно»! — плотоядно рыкнул известный писатель. — А для меня — «абсолютно»!

— И что дальше? — поморщился я.

— Дальше?... — Он стрельнул взглядом на часы и зло скрипнул зубами: — Твою мать! Ехать пора... Ладно, только быстро! Книга моя есть?

Я достал из заначки в антресоли шкафа «его первую книжку»:

— На.

— Щас! — И Глеб галопом поскакал в приемную.

Я чуть нервно опять закурил, стараясь не прислушиваться к доносящимся оттуда голосам, благо стараться пришлось недолго. Минут через пять Бабин прискакал обратно.

— Эх, фраер ты фраер! — утробно простонал он. — «Ничего нового»!.. Эх, да что б ты понимал! Это такая женщина! Такая женщина! Редактор ты хренов! Лад-

но... — Он приник к моей груди, а я к его, размышляя о том, что два столь разных художника, как Маковкин и Бабин, сказали, пусть и в несколько отличных выражениях, в принципе, одно и то же. — Ладно, волчара! — Он отник. — Погнал я. Еще как-нибудь залечу...

И — унесся в свою новую, светскую даль. Утрите мне слезу, как выражается мсье Дегтярёв. Гм, оригинально! Кажется, сегодня впервые слово «редактор» прозвучало для меня как оскорбление.

К двери боязливо, на цыпочках подкралась Лейла Шамсудиновна:

— Он ушел, Юрий Дмитрич?

— Ушел, — величаво-скорбно вздохнул я. — Улетел! А что, не успели помахать ему из окна веером?

— Да ну вас! — фыркнула Лейла. В руке она держала бабинскую книжку.

— О! — воскликнул я. — Ну-ка, ну-ка! И что же начертал вам на этих бессмертных скрижалях мой новый счастливый соперник?

Лейла показала мне язык и протянула раскрытую на титульном листе книжку:

— А вот что!

— «Божественно великолепной девушке и прекрасной души человеку с самыми наилучшими пожеланиями от автора», — медленно и печально продекламировал я. — Дата и подпись. Всё верно, это он. — Скорбно повесил нос. — И как же быстро он вас раскусил! — Чуть приподнял: — Ну что ж, Лейла Шамсудиновна, добавить могу лишь одно. Сколь бы избито и пошло сие ни прозвучало, я целиком и полностью присоединяюсь к только что отбывшему от нас в мир сиянья и девичьих грёз предыдущему оратору.

P.S. И второе заявление Лейлы Шамсудиновны на «б/с» Валерий Макарович подписал с глубоким удовлетворением.

*Такой поступок — подвиг благородный:
Нетрудно затеряться в море слов.
А сам поэт — как великан народный,
Он в жертву принести себя готов.*

НО, ОКАЗЫВАЕТСЯ, Валерий Макарович не только играл на работе в шахматы и подписывал с глубоким удовлетворением заявления на «б/с». Он еще и работал, и с одним из плодов его трудовой деятельности мне, несчастному (опять мне!), пришлось столкнуться вскоре после визита Бабина.

Я-то, невинная канцелярская душонка, тихонько корпел в своем кабинете над рукописями и верстками и, оказывается, знать не знал и ведать не ведал, над сколь грандиозными проектами пыхтит могучий интеллект Валерия Макаровича, а потому здорово удивился, когда в мою келью эдаким Гермесиком без крылышек впорхнул Булков. Впорхнул и загадочно прощбетал:

— Юра, зайди к Преображенскому.

— Щас, — кивнул я. — А зачем?

— Ты в курсе, что мы дали в газеты объявление о новом виде предоставляемых издательством клиентам услуг? — важно спросил Булков.

— Эскорт? — не удержался я, но тотчас посерьезнел: — Нет, не в курсе. Так и чем же еще мы будем радовать отныне дорогих клиентов?

— Мы будем сочинять им стихотворные поздравления к праздникам, всевозможным памятным датам, юбилеям и прочему, — пояснил Булков. — И вот — первая ласточка, сидит у Валерия Макаровича, и он зовет тебя.

Я удивился:

— А зачем меня-то?

— Как зачем? — нахмурился Виктор ибн Петрович. — Ведь ты и будешь писать это самое поздравление.

— Я?! — взвился я. — Ни фига себе! А почему не вы? Или сам Преображенский?

Булков оскорбленно подтянул губы.

— У нас, Юрий Дмитриевич, и без того масса работы. И потом, тебе же прекрасно известно, что Валерий Макарович — прозаик.

— Ну, ясное дело! — буркнул я. — Все тут, блин, прозаики, один я, оказывается, поэт! А как же ваше, Виктор Петрович, знаменитое: «Не ждет от нас она чудес, и ей дороже пекинес», а? — продекламировал я финал булковского посвященного Лейле Шамсудиновне стихотворного шедевра эпохи его беззаветной любви. (Кстати, у нее действительно имелся пекинес: маленький кривоногий уродец с погонялом Зип.)

Но он оказался благороднее меня и не только не ответил на дерзкий выпад, а даже продемонстрировал свое это самое благородство.

— Валерий Макарович просил передать, Юра, что твои личные (с ударением) материальные интересы обязательно будут учтены. Короче, Юрий Дмитриевич, ты называешь заказчику свою цену с... небольшим запасцем, — многозначительно молвил Булков. — Понятно?

— Понятно! — приободрился я и уточнил: — А велик запасец-то?

— Бутылка шампанского, — почти прошептал вестовой.

— Да без проблем, — кивнул я. — Ведите к клиенту.

И Булков отвел. Только это оказалась клиентка, а не клиент. Валерий Макарович церемонно представил нас друг другу, всучил мне пару весомых творческих напутствий, и мы перебрались в мой кабинет.

Ее звали Оксаной. Около сорока, приятная, симпатичная блондинка. Я усадил ее на стул и, утомленно и умудренно закурился, вздохнул:

— Ну-с? И с чем пожаловали?

А пожаловала Оксана вот с чем. Завтра исполняется тридцать девять лет ее, так скэ-эать, другу. И Оксана, прочтя в газете преображенско-булковское объявление, вознамерилась поздравить его в стихах. Оксанин, как выразился бы Гаврила Петрович, «товарищ по производству» арендует по поводу своих именин катер, который в течение нескольких часов будет бороздить воды нашего рукотворного моря и на борту которого состоится праздничный мальчишник, единственной девчонкой на коем будет Оксана.

— И вот, понимаете, Юрий Дмитриевич, мне нужно... — взволнованно прижимала руки к груди Оксана. — Мне очень нужно!..

Далее, дабы покомпактнее изложить, что же именно было ей нужно, я, пожалуй, приведу краткие тезисы, своего рода рабочий план, который набросал во время нашей беседы и все пункты которого, по ее настоятельнейшему требованию, мне непременно следовало отразить в своем творении.

Итак, первое. «Не для печати», но чтоб «читалось между строк», а также «витало в воздухе». У него о семья, она свободна. Когда-то они вместе учились в институте, она его всегда любила, но промеж них (вроде бы) ничего не было. И вот, по прошествии многих лет, у нее наконец-то появилась надежда... Понятно? Ну а далее моменты чисто технические.

1) Зовут героя Владимир Казанцев, и она, Оксана, любит его так, как никто никогда не любил (ну конечно, конечно); словами чувство свое выразить невозможно, однако же на бумаге я должен постараться воспроизвести его максимально приближенно к оригиналу.

2) На катере будут самые близкие друзья именинника, которые, естественно,

понадари́т ему всякой «бездуховной дребедени», и она, Оксана, своей (то бишь моей) пиитической бомбой рассчитывает выгодно выделиться из общей массы чувственников и тем ненавязчиво подтолкнуть Владимира шагнуть, так сказать, навстречу счастью.

3) Объект — Близнец по гороскопу, человек, не слишком довольный собой, раздираемый порой сомнениями и противоречиями, в связи с чем строфа, базирующаяся на данной информации, должна его опять-таки (см. пред. абзац) «ненавязчиво подтолкнуть» к не́й, Оксане.

4) Самые разнообразные биографические сведения. Владимир — натура увлекательная и упрямая. Еще в детстве научился читать «вверх ногами». Потомственный казак, носит усы. В юности грезил о море, даже хотел поступать в мореходку — но увы, окончил технологический. В студенческие годы пропадал в популярнейшем тогда в нашем городе кафе «Лада». Живя на квартире у старушки, в ее отсутствие решил нагнать самогону, однако взорвались фляги, уделав брагой всю кухню. До прихода хозяйки шустро успел переклеить обои, и она ничего не заметила. После института работал по распределению в одном из районов области на химзаводе. Молодой специалист, жизнь веселая, пьянки-гулянки, грудастые хохлушки, отплясывающие на столе... (Дайте два платка.) Любит пиво с воблой, слушать старинный патефон и играть на гитаре (коллега), но в одиночестве, на людях не допросишься, «всё потом да потом».

5) Поскольку акция будет иметь место на воде, вернуть что-нибудь эдакое, типа «белеет парус одинокий», ну и вообще, пару «куплетов» под «ретро» или классику.

6) И наконец — снова Любовь. Опять тактично, ненавязчиво и не в лоб, но чтоб адресат осознал, в конце концов, всю глубину и неотвратимость ея, Оксаниной, Великой Любви к нему и в результате прекратил, глупый, сопротивляться. Бесполезно.

7) Красивый поэтический финал. Всё.

— Всё! — перевела дух и Оксана. — Думаю, этого будет достаточно.

— Да неужели? — сыронизировал я, но тут же вежливо заверил: — Разумеется, вполне достаточно! Вот только... — философично поскреб затылок. — Уж вы, извините, конечно, но у меня еще парочка вопросов, чисто психологических. Для более полного, так сказать, вживания в образ... Мне ведь от первого, то есть, от вашего, женского лица сочинять?

— Конечно, от моего! Задавайте.

И я задал, а она ответила. То краснея, то бледнея, хотя клянусь, вопросы действительно были «чисто психологическими». А после начала смотреть на меня уже с каким-то испуганным уважением.

— Ну, знаете... — пробормотала. — Я, Юрий Дмитриевич, точно почувствовала себя не в редакции на стуле, а у врача в...

— Кресле? Ничего страшного. — Я устало потер веки. — Эх-х, милая, коли уж писателей называют инженерами человеческих душ, то кем и чего называть гм... нас, поэтов?.. — Вновь элегантно закурил и мудро нахохлил брови: — Ведь мне исключительно важно понять вас, Оксана, прочувствовать, и...

Она замерла:

— И?..

Я как Кашпировский уставился в ее округлившиеся глаза.

— И, кажется, я вас понял. Гм... две.

— Что? — не врубилась она.

— Две, — виновато вздохнул я. — Извините, но меньше никак. Во-первых, у нас тут с вами, похоже, наклеивается целая эпическая поэма, а во-вторых — за срочность. Ведь надо уже завтра!

— Завтра... — пролепетала она. — Отплыть должны в четырнадцать ноль-ноль.

— В четырнадцать и отплывете, — заверил я и как бы случайно кинул взор на часы. — Ну что? Пора творить?

Оксана вскочила:

— Да-да! Конечно!.. — Слушайте, она смотрела на меня с каким-то трудно классифицируемым страхом (будто продавала, бедняжка, душу дьяволу) и, одновременно, с такой надеждой, словно от меня одного зависело теперь, жить ей дальше или умереть. (Чёрт, а может, так оно сейчас и было?)

Мы душевно попрощались, и я, отшвырнув очередную плановую рукопись, засел за «поэму». Часа через два в общем и целом она была готова, и все «пункты» вроде отражены. Я позвонил Лейле, загадочно предупредив, что на завтра намечается небольшая культурная программа, и о том же предупредил водителя Юру-Белочку, дабы часом не свинтил куда-нибудь пить пиво в рабочее время, потому что работы у него все равно не было никакой.

Сам же занялся чисткой и доводкой своего «произведения». Почистил, довел и попросил ребят из газеты перепечатать на компьютере и красиво вывести на цветном принтере с вензелями и финтифлюшками. Товар лицом!

А утром позвонила Оксана. С новой «громадной просьбой». Она убегает в парикмахерскую, где ей накрутят какую-то невозможную прическу, и вернется домой в бигудях. В час друзья именинника заберут ее и отбуксируют на набережную, а я... Не мог бы я завести ей поэму? Расчет на месте, за такси, разумеется, тоже. Я (якобы нехотя) согласился: как раз и Белочке обломится, и Преображенскому на пузырь шампанского останется.

Оксана уже собралась было класть трубку, но я тормознул ее:

— Погодите-погодите, а поздравленье?! Давайте прочту.

— Ой, да я доверяю вам, Юрий Дмитрич! — пискнула Оксана, похоже, всюю уже объятая предстартовой лихорадкой.

— Как это — доверяю?! — возмутился я. — А вдруг что не так? Пока еще есть время поправить. — Откашлялся. — Слушайте.

В волненьи я, и то не странно.

Свершилось!

Стой!

Замри, мгновенье!

Владимир, это я, Оксана.

А это — поздравленье...

И — попёр! Четко по пунктам плана. Все оглашать не буду, а некоторые — вот они.

...Тогда парили Близнецы

Дуэтом звездных танцев.

И — понеслось во все концы:

«Родился Сам Казанцев!!!»

О, ты — классический Близнец,

Собою недовольный.

А впрочем, может, наконец

Окажется невольню,

Что вдруг сумеешь совместить

(Надеюсь я, до срока)

Краев родных привычный вид

И шарм страны далекой...

Я знаю: любишь море ты,

Мечтал о мореходке...

И пусть не сбьлись те мечты,

В одной сейчас мы лодке...

(Далее несколько «куплетов» про то, что — казак, про кафе «Лада», самогон, пиво с воблой, гитару и проч.)

Ну и разумеется:

Вода и солнце, день чудесный,
Нас манят рифы дальних стран.
И ты учти, мой друг прелестный,
Что ты сегодня — Капитан!
Струя хоть не светлей лазури,
Зато луч солнца — золотой.
Ус подкрутив, — навстречу буре!
На кой, скажи, тебе покой?..

А в итоге:

...И — «очарована» тогда я,
И — «околдована», как в сне,
Уж ничего не пожелаю —
Светло и ясно станет мне...
Да, я волнуюсь. И не странно.
Свершилось!
Стой!
Замри, мгновенье!
Владимир! Это я, Оксана!
А это — Поздравленье...

И — замолчал.

Трубка тоже молчала. Молчала долго, а потом послышались странноватые звуки, влажные и хлопающие. И — голос. Тоненький и дрожащий.

— Юрий Дмитрич... Ох-х, Юрий Дмитрич...

— Стоп! — перебил я. — Оксана! Времени в обрез и у вас и у меня. Для поэта слезы заказчика, разумеется, лучший рецензент, но ближе к делу. Пойдет — не пойдет? Ответьте — да или нет?

— Да... — прокапала трубка, и я удовлетворенно кивнул:

— Отлично! Называйте адрес, и ровно в двенадцать ноль-ноль я швартуюсь у вашего причала...

Ровно в двенадцать ноль-ноль мы с Лейлой Шамсудиновой и Юрой-Белочкой пришвартовались у Оксаниного подъезда. Сама она как заведенная уже конспиративно-темпераментно нарезала круги возле мусорного бака. На голове Оксаны возвышался огромный тюрбан из полотенца, выдать, для сохранения «хвормы», а в руках она нервно теребила маленький конверт.

Как послы дружественных держав мы встретились аккурат на полпути между машиной и мусоркой и обменялись верительными грамотами — «поэмой» в папчке и деньгами в конвертике. Я даже был слегка поцелован в щеку пурпурной от грядущего счастья Оксаной и, с понтом смущенно, с «самыми-самыми» пожеланиями, шаркнув ножкой, откланялся. И Оксана ланью убежала в свой подъезд, а мы — уехали. В парк, как говаривали в старину, культуры и отдыха в совсем другом конце города.

И вот в том парке...

И вот в том парке я, в который уже раз за это совершенно сумасшедшее лето, впал в самое натуральное детство. Вернее, не впал, а меня просто швырнула в него, как палач свою жертву в мультике «Фильм, фильм, фильм», ослепительно-неугомонная Лейла. Сначала мы приземлились за столиком летнего кафе в самой гуще аттракционов. Я купил шампанского, соков, «Пепси» (для верного Белочки), мороженого. А потом...

А потом мы с Лейлой Шамсудиновой самозабвенно рухнули в пучину культурно-массовых развлечений. Тип, надо заметить, достаточно ленивый и нудный (хм-хм, чего уж там скрывать), я был, ей-богу, просто потрясен и размазан по окружающему макро- и собственному внутреннему микрокосму, с одной стороны, Лейлиной детско-юношеской энергией и энергетикой, а с другой — самими всеми этими разнообразными полетами на всевозможных качелях, каруселях, «вихрях», «ромашках», низвергающихся из поднебесья и вновь взмывающих ввысь кабинках, летающих тарелках и прочем, прочем, прочем. Мы стремительно, до свиста в ушах рассекали воздух во всех направлениях, махали руками Юре-Белочке, а он сидел, нога на ногу, как тexasский ковбой, со снисходительно-бесстрастной ухмылкой на челе — мол, эх, молодо-зелено! — и брезгливо ковырял ложечкой мороженое.

Наконец я долетался в буквальном смысле слова чуть ли не до морской болезни, но виду, разумеется, не подал: только натянул физию, подобную Белочкиной, и деланно-равнодушно предложил «освежиться шампанским». Лейла Шамсудиновна предложение мое приняла с явным сожалением, и мы вернулись к столу: лично я с огромным облегчением — как космонавт, возвратившийся на родную землю после длительного межзвездного перелета, а Лейла — наоборот, с грустью, как птица, которой дали вот было чуть-чуть попорхать, но тут же снова засунули в клетку. Эх, дундук я дундук!..

Однако на этом наша культурная программа не закончилась. Кто-то (как бы даже не Белочка, которому, невзирая на каменный лик, явно больше понравилось кататься с нами, есть мороженое и пить «Пепси», нежели париться в душном издательстве) предложил рвануть на набережную.

Рванули. По дороге мы с Лейлой Шамсудиновной отчаянно целовались на заднем сиденье, а Юра порой строго посматривал на нас в зеркальце. Когда же остановились у кафе-дебаркадера под открытым небом и Лейла первой выскочила из машины, Юра пронизательно прищурился:

— Чёй-то не соображу, Дмитрич. У тя с Лейлой Шамсудиновной служебный, гм-гм, роман, что ли?

Я только развел руками, отдавая дань его прозорливости:

— Гм-гм.

Ветер с «моря» дул, и мы бросили якорь в центре дебаркадера. Я окинул взором окрестности и... невольно привстал: за одним из крайних столиков сидела... Оксана, видимо, вернувшаяся недавно, судя по растрепанной прическе, из праздничного круиза. А напротив нее, подперев рукой щеку и уставившись на свою визави изрядно замутненным оком и слегка колыхаясь на ветру, сидел, похоже, тот самый Владимир, пресловутый герой ее многолетнего романа и моей однодневной поэмы, про которого я теперь знал всё: и что стесняется играть на гитаре, и что казак и несостоявшийся мореход, Близнец, любящий слушать старый патефон и пить пиво с воблой...

— Что с вами, Юрий Дмитриевич?! — Удивленный голос Лейлы выдернул меня из моего созерцания, и я встрепенулся:

— Нет-нет, ничего...

А Владимир тем временем поднялся из-за столика, не вполне твердой поступью направился к стойке бара и вскоре вернулся к своей даме с двумя бокалами пива. Я смотрел, как он идет, маленький, узкоплечий, с уже поредевшей макушкой, но зато пышными, как у запорожца, усами, идет, чуть пошатываясь (а я-то нарисовал вчера в моем творческом мозгу величавый образ этакого полубылинного красавца богатыря — если уж и не Ильи Муромца, то как минимум Алёши Поповича)... Но главное... главное — я видел, какими глазами, полными неземного счастья и солнечного света глазами смотрела на этого невзрачного человечка Оксана...

И резко повернулся к Лейле.

— Вы что, Юрий Дмитриевич?! — В ее голосе был почти испуг.

— Нет-нет, ничего... — как попугай пробормотал я, но весь остаток того часа, что мы просидели на дебаркадере, с трудом мог отвести взгляд от этой пары.

Они же нас не видели. Да они на нас даже и не смотрели, они смотрели только друг на друга (правда, Владимир, видимо, для ориентировки, кидал иногда мутноватого косяка на свой бокал с пивом). Для них на этой вечерней набережной не было никого. Да для них сегодня, похоже, не было вообще никого на всем белом свете.

А мы вскоре ушли. И вскоре уехали. Лейлу Шамсудиновну Белочка высадил возле ее подъезда, а меня подбросил через квартал к подъезду Гаврилы Петровича. Такой вот экспромт.

Гаврила Петрович пребывал в своем вигваме один: дочь уехала в Питер, а хранительница его очага скво Татьяна — к родственникам в деревню.

— О-о-о, лучший друг, как я это называю!.. — заключил меня в железные шайпенские объятия Гаврила Петрович, но тут же посуровел: — Эй, а чё это ты приперся?

Я пожал плечами:

— Да так просто...

Мы сели на кухне, и я вдруг, совершенно неожиданно для себя, начал рассказывать Гавриле про Оксану, «поэму» и встречу на дебаркадере...

— Погоди! — остановил меня художественный руководитель. — Выпить не хочешь? А то когда еще удастся посидеть так органично, как я это называю, двум молодым одиноким сердцам и душам?

— Давай, — вздохнул я. — Открывай.

Гаврила Петрович нахмурился:

— Чё — открывай?

— Ну, это, бутылку... — малость оробел я.

Он укоризненно покачал седой головой:

— А у меня, между прочим, товарищ редактор, на бутылку денег нету, я ж временно нетрудоспособный, то есть безработный, забыл? — И водрузил на стол небольшую (лигра на три) розовую эмалированную кастрюльку с самогоном. — Вот, только огненная вода, будешь?

— Буду, — покорно кивнул я.

Мы черпанули кружками из кастрюльки, выпили, закусили, и я стал рассказывать дальше. Минут через пять опять черпанули — и продолжение рассказа.

Наконец я завершил свое повествование, и Гаврила Петрович, собственноручно зачерпнув себе и мне, торжественно встал и тихо и прочувствованно произнес:

— Вот видишь, пацан, что делает с людьми эта самая любовь!..

Примерно на трети кастрюльки я позвонил Оксане и спросил, как всё прошло.

Она, опалелло-счастливая и тоже, похоже, пьяненькая, начала благодарить меня, но тон и выражения были явно конспиративными, и я, деликатно смекнув, что третий — лишний, свернул диалог, прозрачно-туманно пожелав ей самой-самой доброй ночи в ее жизни. На том и простились.

Домой я, разумеется, не поехал. Кастрюльку мы с Гаврилой Петровичем, правда, не допили, но, как говорится, отхлебнули изрядно.

На том и разошлись, то бишь, распозлись. По диванам.

Вот что, граждане, и впрямь делает с людьми эта самая любовь, даже чужая!

А уж своя-то...

*Учу я ноты по родному букварю,
Ну а потом вкрапляю жемчуга.
Я лирой со Вселенной говорю,
Её я вечный, праведный слуга...*

ОДНАКО УВЫ И АХ. Любовь любовью, но проза жизни, друзья, — штука тоже достаточно вьедливая, и как ни крути, а не всегда от нее открутишься. И так...

Итак, во-первых: Преображенский решил нанести визит вежливости Бочарову. Домой — Алексей Михайлович давно уже выписался. Не знаю, что уж там послужило побудительным мотивом сего Валериемакарычевского акта гуманизма — собственный ли порыв православного сердца или бочаровский призыв. И меня, блин, за каким-то кляпом с собой поволок.

Дабы сэкономить деньги на бензин, практичный Валерий Макарович выцыганил в бухгалтерии мелочь на маршрутку для нас обоих, а поехали мы в троллейбусе: я — за плату, меньшую, нежели в маршрутке, а он, как пенсионер, — вообще бесплатно и еще снисходительно хмыкнув мне: учись, мол, Юра, жить! Не, ну что скажешь — голова!

Визит же был недолгим, дольше добирались. Алексей Михайлович встретил нас достаточно уже шустренным, свеженьким и очень похудевшим. «Это мне, понимаешь, врачи заодно жир срезали. Аж двадцать пять кило!» — похвастался он слегка остолбеневшим от такой его перемены нам. Но, знаете, рассказывать об этом «посещении больного» особенно и нечего. Никакого намека на хотя бы даже минимальное угощение; посидели чинно в креслах в проходной комнате, послушали вежливо обильные словоизлияния Алексея Михайловича о вреде пьянства и пользе здорового образа жизни — и откланялись. Но мне показалось, что именно тогда былое благодушие Валерия Макарыча относительно его боссовского светлого будущего в издательстве впервые дало трещину и сменилось определенным беспокойством. Ведь он-то направо-налево каждому встречному-поперечному вешал о том, что Бочаров на работу уже не выйдет, — а тут нате вам: Алексей Михайлович и шустрый, и веселый, и бодрый, заливается соловьем, различные планы производственные строит... Короче, Валерий Макарович зримо погрустнел. Но, выйдя на улицу, на сэкономленные «маршруточные» деньги царским жестом купил в киоске две бутылки ледяного (хорошо в жару!) «Жигулевского», и мы с удовольствием пиво это выпили, а потом опять сели в душный троллейбус и вернулись в издательство.

Ну и другая гримаса судьбы. Я сломал свою любимую двенадцатиструнную гитару.

Пожалуй, здесь следует сделать более-менее пространное отступление. Гитара в моей, да и не только моей, а и большинства моих самых близких друзей жизни играла, не побоюсь этого штампа, действительно очень важную роль. Все мы как заболели ею еще в отрочестве, на самом гребне девятого вала советской битломании, так до сих пор и не очухались. Первым начал Игорь: удалив «лишнюю» струну со старенькой семиструнки, он выучил штук пять аккордов и с хрестоматийным харрисоновским упорством — до кровавых пузырей на кончиках пальцев — упражнялся где и когда только позволяли обстоятельства, призывая и меня последовать его примеру. Но я какое-то время и не думал этому примеру следовать. Может, оттого, что младше на полгода, может, по какой иной причине, но мое близкое знакомство с гитарой состоялось как раз где-то на полгода позже, чем Игореву. Дозрел, что ли?.. Хотя скорее, это все-таки, наверное, он меня наконец достал, потому как всегда считал и до сих пор считаю: то, что я начал играть на гитаре, — это какой-то биографический выверт, казус и абсурд. В отличие от обладавшего хорошим голосом и слухом Игоря, у меня ни того, ни другого не было и в помине. Но ведь не зря же придумана поговорка, что и медведя можно научить

ездить на велосипеде. И представляете, Игорь — меня научил! В какой-то момент от мягких уговоров перешел к ультиматуму. «Слушай, надо, чтобы мне кто-то подыгрывал, — заявил он. — Одна гитара — это неинтересно, а две — это мы уже будем как ансамбль, как «Битлы»...» Вот на этих самых «Битлах» я и погорел. В общем, осознал, проникся и взял в руки вторую кастрированную старую вишневую семиструнку. Дни, недели и месяцы упорных тренировок, тоже до огромных кровавых волдырей на пальцах, — и вот мы с Игорем уже довольно сносно (по тем, конечно, допотопным меркам) стали исполнять на две гитары «Дом восходящего солнца», «Бизонов», «Апачей» и еще с пяток популярных в те годы инструментальных композиций. Ну а вскоре...

Ну а вскоре нас взял под свое могучее крыло Гаврила Петрович, тогда еще Вячеслав Владимирович, и с высоты своих аж семнадцати по-царски обрушил на нас, тринадцатилетних (у него был сногшибательный магнитофон «Днипро», а у нас даже и какой-нибудь вшивой «Ноты» не было), волшебный мир «Битлов», «Роллингов», «Криденс», «Кристи», «Бич Бойз», «Сёрчерс», «Дэйв Кларк Файв», «Холлис», а чуть позже — «Пёпл», «Цеппелин», «Блэк Саббат» и так далее, и так далее, и так далее... И знаете, как мы были в детстве ушиблены всем этим великолепием, так, похоже, и продолжаем всю жизнь пребывать в том ушибленном состоянии. Примерно тогда же, в начале семидесятых прошлого века, взяли гитары в руки и уже знакомый вам Генка, и еще один наш друг — Сашка, но этому-то было гораздо легче, чем нам, самоучкам: Сашка к тому времени окончил музыкальную школу по классу баяна и шарил на нем как бог: всё — от «Матани» до тяжелого рока. А чуть позже по нашим стопам двинулась следующая волна покорителей «Дикого Запада»: Олег и еще двое Сашек, все трое на пару лет младше. Но Сашки тоже имели музыкальное образование, а Олег освоил бас-гитару, и они с успехом заменили нас на школьных вечерах: старенькие «Тоники», кинатовские усилители, самодельные колонки и отрядные барабаны производили фурор среди пионерско-комсомольской публики и наводили ужас на коммунистов-учителей, пытавшихся в самый разгар этой вакханалии уменьшать громкость усилителей и даже прорывавшихся порой к святым святым — розеткам. Но нет! Шоу маст гоу он! И оно — продолжалось. И продолжается до сих пор!

Помимо нередких «акустических концертов» в любых бытовых и погодных условиях, мы теперь еще и...

Хотя, впрочем, тут я, наверное, уже примазываюсь к чужой славе. Нет, определенная, в основном агитационно-пропагандистская заслуга моя в этом имеется, но здесь уже главный, конечно, Олег — бас-гитарист. За истекшие десятилетия он стал достаточно преуспевающим бизнесменом и... в один прекрасный день (ну, не день, конечно, это метафора) оснастил целиком и полностью всю нашу новую старую рок-группу современной аппаратурой и первоклассными инструментами. Себе купил бас-гитару «Music Men» у бас-гитариста самого Владимира Кузьмина, одному Сашке — гитару «Framus», другому синтезатор «Yamaha», третий Сашка сел за ударную установку «Maxton», получив в придачу для некоторых номеров полуакустический «Fender», ну а вашему покорному слуге был доверен «Gibson Les Paul Epiphone». Представляете! И — тридцать лет спустя мы так равноруко струны в Сашкиной автомастерской, что содрогнулась вся округа. И пусть, пусть кто-то хихикал, а кто-то подначивал, и пусть Сашкина хранильница домашнего очага женщина-скво Галина назвала наш возрожденный как Феникс из пепла времен и событий музыкальный коллектив группой «Старые (ну, скажем так) чудачки», — мы были счастливы! Мы и сейчас счастливы, потому что хотя бы в чем-то, в каком-то одном отдельно взятом аспекте совершили невозможное — вернулись в детство и юность. У нас горят глаза, дрожат руки и срываются порой голоса, но — чёрт побери! — кто бы что ни говорил и ворчал — МЫ СДЕЛАЛИ

ЭТО!!! Вопреки всему, вопреки всем проблемам и сложностям, бедам и дразгам. Нельзя стареть душой, ни в коем случае нельзя! И как же, как же мне нравится итальянская поговорка «Стариков надо убивать в детстве»! Среди моих друзей, настоящих друзей, независимо от их возраста, стариков нет, ясно?

...Уфф, прошу простить за горячность, но это я наступил сам себе на столь любимую мозоль, что коли вовремя не остановиться, повествование мое еще чего доброго плавно перетечет в «Историю рок-музыки в Троицкой слободе города Чернозёмска» (так с давних пор называется наш родной район). Всё, стоп! Хотя нет, начал-то я с чего? С того, что сломал любимую двенадцатиструнку. Вздумал, придурок, подтянуть, подкрутить гриф, чтобы мягче прижались струны, — и, твою мать! — докрутился. Эх-х-х!..

Что делать? Немного пометавшись, я хлопнул себя по лбу. Хлопнул, а потом позвонил Петру Григорьевичу Бардину, лучшему гитарному мастеру в городе и одному из лучших в России. Нас познакомил несколько лет назад Славка Дегтярёв, который тогда как раз написал о Бардине рассказ «Русская душа». Перед публикацией Славка пришел «обкатать» его на мне (он частенько это делал), и помню, как поразил меня и сам рассказ, не очень характерный для Дегтярёва, лиричный, мягкий, и (простите за тавтологию) рассказ Дегтярёва о Петре Григорьевиче. Нет, я, конечно, слышал о Бардине и раньше, читал публикации о нем, но «Русская душа» и Славкины слова меня здорово зацепили: как ни банально звучит, но — такие люди живут рядом, а я... Короче, я попросил Дегтярёва познакомить нас, и он познакомил. Петр Григорьевич починил мне старую гитару, но главное — впечатление от этого удивительно чистого, простого русского человека. Вот ей-богу, есть, есть такие люди — и их жутко мало, — при общении с которыми на тебя прямо нисходит какая-то благодать, умиротворение, что ли. И почему-то сам себе (хотя вроде парень-то и неплохой) начинаешь казаться дурным, недостойным, корыстным, суетным... А от таких людей точно исходит какой-то свет, нездешнее что-то. Сияющие глаза Петра Григорьевича, когда он доставал из футляра свою гитару, брал ее в руки и начинал играть... Нет, словами не передать! Просто вдруг начинаешь ощущать тихое счастье, радость от того, что сидишь рядом и словно впитываешь этот свет и эти нежные звуки. Петр Григорьевич когда-то окончил музучилище по классу гитары, так что понимаете сами, играет здорово, ну и, естественно, не наш рок, а классику...

В общем, пришел я к нему со своею бедой, и что мог Петр Григорьевич сделал: гитара опять заиграла и зазвенела. Мы распили в мастерской, в подвале старенькой пятиэтажки, в которой жил Петр Григорьевич, бутылочку сухого, и, снова счастливый (в музыкальном плане), я убежал на встречу к Лейле Шамсудиновне.

Эх-х-х, а может, все-таки ей когда-нибудь понравится, как я играю?..

«...ПОЕЗД ...Наверное, он будет преследовать меня всю жизнь. Я — помню... Помню, как робко вошел в запыленный тамбур и усатый проводник с бесформенной тенью вместо лица больно ударил меня кованым сапогом сначала по чашечке, а потом по ложечке — и я вышел. Куда?.. Зачем?.. Не знаю. Но только с тех самых пор я всё еду, еду, еду, с риском для ног и солнечного сплетения брожу по запыленным тамбурам и вагонам и ищу чужие письма... А... может быть... тебя... или... себя?..

А вчера, близ заката, после того как я допил оставшийся с прошлой недели коньяк, мне даже показалось, что я тебя нашел. Ты стояла, слегка наклонившись на запад, в полукилометре от железнодорожного моста и молча смотрела на семафор. Я подошел чуть сзади и тронул тебя за плечо... Но это была не ты. А может, и ты, но ты не та, какую я хотел бы тронуть вот так, чуть сзади, в тот миг за плечо, а — другая, какую я не хотел бы трогать вот так

ни спи, ни спереди не только в тот миг, а и в тысячи, миллиарды тех мигов в процессе текущего мироздания...

И — я побежал домой, в свою комнату с портретом Пушкина на стене, и заклеил тебя листком шершавой плотной бумаги. Но лучше бы не клеил!.. Потому что ты всё равно была здесь, рядом, — я едва ли не эпителием носа чувствовал твоё дискретное, рефлекторное дыхание и всепроникающий запах кожаных мягких сапожек...

Нет-нет, я совсем не боялся повернуться к тебе, но все-таки не повернулся. Зачем?.. Наверное, мне просто не следовало тебя клеить — и тогда я не чувствовал бы теперь эпителием носа твоё дыхание, твои сапожки. Но я заклеил и теперь — чувствую...

...Я хочу оттолкнуть злобного проводника и пройти в вагон. Но вагон такой огромный — как ночь, а проводник такой чёрный — как жизнь, а у меня болят чашечка с ложечкой — и я остаюсь. Мой поезд опять уйдет без меня...

«Послушай, — говоришь ты. — Ты думаешь, что это я? Но это не я... То есть я — но не та я, о которой думаешь ты. Той ей больше нет. То есть, она, конечно же, есть, но есть там, где не эта я и не этот ты. И, возможно, тебе этому не нужна та я, как тебе тому — я эта. Но надо бороться!»

«Надо бороться...» А... надо ли?..

Ты медленно поворачиваешь ко мне свое подёрнутое паутиною трещин лицо, и я целую тебя... Вернее, не тебя, а ту, которую заклеил, когда встретил тебя... Знаешь, оказывается, стекло, даже битое, гораздо холоднее, чем тонкий фотоэмульсионный слой, которым ты покрыта, — и я с грустью отшатываюсь, и, конечно же, режу губы, и тихо сплевываю розоватые от заката и крови осколки в бледный от волнения кулак.

А потом ты медленно допиваешь мой, оставшийся с прошлого месяца виньяк, и мы выходим на улицу. Закат нарастает... Чур меня! — над нами с пронзительным визгом проносится стая грачей. Говорят, каждая такая птица — это чья-то душа... Мерзкие птицы!.. Я достаю свой платок, ты свой, и мы подавленно, молча приводим друг друга в порядок.

Порядок... А знаешь ли ты, что это вообще такое — «порядок»?! Когда вокруг каждый день всё одно и то же — это порядок? Когда любящие, одинокие любящие не могут быть вместе — это порядок? И то, что рядом со мной ты, но не такая ты, какую бы я хотел видеть рядом с собой, — это, по-вашему, тоже порядок?.. Мне грустно и зябко, и я беззвучножимаю плечами и наклоняюсь слегка на восток. Закат уже — вот он...

...А поезд не ждет. То есть, он ждет, конечно же, он ждет, ждет всех — но не меня... И уса́тый проводник, заискивающе подсаживающий пассажиров в вагон, ждет не меня. Для них-то он, наверное, имеет лицо, и, возможно, они для него имеют лицо... Стоп! А что если это я — Я! — человек без лица? «Человек — Потерявший — Лицо»!.. Мне грустно и зябко. К тому же у меня нет билета. Почему-то у меня никогда нет билета туда, куда мне надо. А куда не надо — полно. Они лежат у меня дома, на письменном столе под портретом Киплина на стене — я каждый день их покупаю, но никогда никуда не еду. Зачем? Главное, купить билет — а ехать куда не надо!.. Я бесшумножимаю плечами. Пусть э т и едут, если им надо... А... надо ли?..

Ты с опаской дёргаешь меня за рукав — из-за косинусоидальных тополей под звуки органа выворачивает отряд малолетних наркоманов и проституток с вожатой-валькирией во главе. У вожатой свисает до пояса огромная голая грудь и автомат Калашникова в руках. «Здравстуй, племя молодое!..»

Отряд обгоняет шарашнувшегося к кустам старичка в драных валенках и с бутылкой. Ты испуганно прижимаешься ко мне — совсем как т а... Ты боишься этих проституток — и правильно делаешь. А я, я их ничуть не боюсь — ведь у них нет автоматов, только кастеты, обрезки арматуры и цепи, а это... Я боюсь вожатой. Боюсь, сумеет ли она рассказать им правду про разумное, доброе, вечное... И если сумеет — то когда? И как? Какими словами? Ведь эти проститутки — наше подрастающее поколение, наше будущее!.. На прошлое и настоящее надежды никакой, только на будущее: может быть, хоть там любящие наконец-то смогут быть вместе!.. А годы бегут. Смешно, мне уже... А тебе?..

Увидев нас, вожатая ойкает и стыдливо пытается закрыть прикладом грудь. Зачем? Как будто я не видел вожатых... Тем паче, что для этого ей потребовался бы по меньшей мере приклад от гаубицы. Но гаубиц с прикладами, кажется, еще не выпускают. Вот только почему?..

Вожатая подобострастно кричит: «Сми-и-рна!» Дети торжественно маршируют мимо нас и попарно исчезают за углом. Я опускаю ладонь от ушанки. Почти закат...

Подходит поезд. Без проводника. И мы бежим, бежим, бежим как сумасшедшие, чтобы успеть, обязательно успеть, потому что нам очень надо уехать — в Венецию или Мичуринск, уехать туда, где ты не эта и я не этот, где мы оба не эти, а — т е... Ты — для меня, я — для тебя, мы — для нас... Но скажи: а тебе и правда это надо?.. Мне грустно и зябко...

Грачи! Они снова, как призраки, кружат над нами, они хотят помешать нашему счастью, помешать нам уехать в Мичуринск!.. Говорят, грач — птица весенняя. Не знаю, может быть, хотя вокруг сплошная зима... Но дело не в этом — ведь каждая такая птица это чья-то душа. И мы опасливо закрываемся руками...

Пока мы бежим, ты говоришь, что любишь меня. Я горько усмехаюсь. Во-первых, о любви ты почему-то всегда говоришь на бегу, а во-вторых... Слушай, да вообще — что ты можешь знать о любви?! В лучшем случае, каково это — быть любимой. Но вот что такое любить самой?.. Э-х-х... Одна моя знакомая Жучка задрала из-за своего Жучка двух бультерьерок. Сука! А ты? Ты?..

Без мига закат — и я вдруг понимаю, что это не ты, что тебя нет. По твоим потемневшим глазам (особенно тому, который «с полчетвертого до шести») я чувствую, что и меня тоже нет, что это не я. Грустно...

Ты шепчешь: «А если бы я правда полюбила тебя, ты смог бы стать?.. Ну, допустим, неплохим писателем? Или дворником? Или проводником?..»

Писателем? Не знаю. Хотя говорят, писателями иногда становятся от любви. Чаще — неразделённой. Но тогда получается, что чем лучше писатель, тем меньше ему везет в любви... Нет, родная, я не хочу быть хорошим писателем... А вот дворником... дворником смог бы. Если бы дали метлу и мусорное ведро. Но проводником?.. Бесформенной тенью скрываться в чёрном тамбуре и бить кованым сапогом по чашечке того, кто хочет сесть в поезд?! Бить себя?..

Я толкаю тебя в вагон и как безумный бросаюсь следом, чтобы успеть — успеть осознать, что дверь закрывается перед самым моим носом. Ведь если она не закроется, мне придется ехать туда, куда я хочу. А я до боли хочу уехать с тобой, за тобой, за собой, хочу помочь тебе найти себя и меня, которых здесь нет, но которые, возможно, живут где-то там, далеко-далеко... И поэтому я остаюсь. Твой поезд опять ушел без меня...

Закат!!!

Я, как побитая собака, возвращаясь в свою комнату с картиной Репина на стене и допивая оставшийся с прошлого года «фруктяк». На столе два пыльных тома: Гомер и Гоголь. Оба на «Г», оба — ГЕНИИ...

Мне грустно и забко. Поезд, в котором ты уехала сейчас, преследовал меня все эти дни, все эти годы, всю жизнь... И вот — ты уехала, а я — остался. Почему? Зачем? Не знаю. Но только с тех самых пор я каждую ночь всё брожу по заплыванным тамбурам и вагонам и ищу чужие письма... А... может быть... тебя... или... себя?..

Я отрываю от стены бумагу, и ты укоризненно шепчешь: «А ведь ты мог бы стать неплохим дворником... или проводником... или писателем...»

Мог бы. Дворником мог бы, если бы дали метлу и мусорное ведро. Проводником — никогда! А писателем... Понимаешь, хорошим писателям не везет в любви...

Нет, родная, я не хочу быть хорошим писателем.

НЕ-ХО-ЧУ!!!

Я хочу только, чтобы любящие, одинокие любящие, хоть когда-нибудь были вместе.

Понимаешь?..»

— Ну... как? — Я робко поднял голову и обомлел: Лейла Шамсудиновна вдруг жалобно всхлипнула и — залилась слезами.

— Что ты? Ты что?! — Я бросил листки и обнял ее. Она уткнула как маленькая лицо в ладони, и между пальцев текли тоненькие струйки и капали большие капли слез. — Зачем?! Успокойся! — бормотал я, а она...

— Почему? Ну почему, Юрий Дмитриевич, всё так плохо?.. — чуть ли не по-бабьи прорыдала она, и я опешил:

— А... что плохо?.. Что плохо-то, милая?!

Лейла резко выпрямилась:

— Плохо всё! Вы разве не видите, Юрий Дмитриевич, как всё плохо... — Она замотала головой: — Нет-нет! Так нельзя! Нельзя! — И стремительно встала, точно подобрешенная стальной пружиной. — Ну неужели вы, Юрий Дмитриевич, в самом деле ничего не понимаете!..

Я подобрал рассыпавшиеся по траве листки и сунул в сумку. «Не понимаете!» Да всё я понимаю. Всё.

— Юрий Дмитриевич! — Ее слезы уже почти высохли. — А откуда вы узнали про Венецию и Мичуринск?

— То есть? — сделал вид, что удивился, я.

Огромные глазищи вот-вот грозили накрыть меня как океанская волна.

— Ну, понимаете... — Она чуть замялась. — Мичуринск... Мичуринск — это как сон, как добрая сказка из детства. Я ни разу не была там, но когда еще девочкой ездила с родителями в Москву, поезд всегда останавливался глубокой ночью в Мичуринске. И вот я лежу на верхней полке и смотрю в окно. Маленький вокзальчик, освещенный тусклыми фонарями. Если зима — то кругом искрящийся белый-белый снег, а летом вокруг фонарей вьются бабочки и мотыльки, и железнодорожные рабочие идут вдоль состава, постукивая молотком по колесам. А потом... А потом поезд трогается, и я уезжаю. Уезжаю, снова так и не побывав в Мичуринске. Понимаете?

— Понимаю, — кивнул я. — А Венеция?

— Венеция?.. — Лейла пожала плечами. — Ну, с Венецией чуть проще, хотя... Это тоже как мечта, но уже взрослая. Просто мне кажется, что Венеция — самый

прекрасный город на земле, и если бы меня спросили, в каком одном-единственном городе мира ты хотела бы побывать, я бы ответила не раздумывая: в Венеции!

— Понятно, — буркнул я.

— Но как же вы, Юрий Дмитриевич, об этом догадались и почему написали именно «Мичуринск» и «Венеция»?!

Я почти искренне покачал головой:

— Не знаю, Лейла Шамсудиновна. Как-то рука сама вывела...

— Странно, — прошептала она. — Странно и удивительно...

Я промолчал. И молча пошел рядом с ней по дорожке, ведущей из детского сада, где мы сидели в беседке, к ее дому.

«Странно и удивительно»? Ну, не знаю. Гаврила Петрович когда-то произнес весьма колоритную, на мой взгляд, фразу: «Я человек не злопамятный, я — очень злопамятный». К чему это? Да к тому, что у меня не просто хорошая, а очень хорошая память. Года два назад, когда еще и мысли о том, что мы с Лейлой Шамсудиновной когда-нибудь можем стать «товарищами по производству», она мечтательно упоминала в каком-то контексте и Венецию, и Мичуринск. Ну а я...

А-а, ладно! Сдаваться так сдаваться. Лейла-то восприняла сей текст как только что написанный, посвященный ей, а на самом деле этот, как я его называю, «Мой поезд» — десятилетней давности дружеская лирическая пародия на первый и, увы, последний сборник Игоря Сысуева «Одинокие вместе. Блюзы в прозе». И вон как, оказывается, актуально «выстрелило»!

М-да-а... Вот видите, родственники, друзья и знакомые, какой я действительно хитрый и изобретательный.

Просто змей!

*Ну что, браток, провёмся в этот рай?
А собственно, и не было запрета.
Но... лучше подожди, не умирай,
Не трогай дверь лже-вечного секрета.*

СВЕРШИЛОСЬ!

Лейла Шамсудиновна вышла на службу.

Но свершилось и еще одно эпохальное событие: я закончил грандиозную работу по «обдельванию» бессмертных творений Александра Николаевича Маковкина аж на две книги и отпечатал на машинке заключительные строфы:

Я не хочу блистать умом и кругозором,
К святыне ж не могу не прикоснуться.
В беседе скромной, честным разговором
Дыханьем свежести сегодняшней всплеснуться.
И эту честь как мудрую услугу,
Как вечный дар наследно подарю
Души моей единственному другу
И путь его сияньем озарю!

Свершилось! Всё! Точка.

Я получил с автора окончательный расчет, и первая рукопись отправилась в производственный отдел на подготовку к сдаче в типографию. А Александр Николаевич крепко пожал мне руку и растроганно хлюпнул:

— Ну, спасибо те, Дмитрич! Ты ж прям для мене как Платон (?!), как литературный крёстный отец родной! Мудрец ты, Дмитрич, ох, мудрец, прости господи, каких поискать.

— Да ладно... — Я заалел, словно красна девица.

— Не-не, Дмитрич! Точно-точно, не скромничай. Ты ж мене знаешь: брехать я не люблю, людя́м завсегда режу в глаза правду-матку, за что и гоним сволочами всякими. А ты, ей-богу, для мене как Платон, вот тока...

— Что — «тока»? — насторожился я.

Александр Николаевич густо высморкался и твердо произнес:

— Вот тока ты еще должен устроить мене эту, как ее... А, да, рекламную кампанию, понял?

Я похолодел.

— Рекламную кампанию?!

Он кивнул:

— Ага, Дмитрич, её. Редактор же, ить, должен пропагандировать в этих, средства́х информации, свою продукцию? Да ты не пужайся, не пужайся, стихи ведь у мене хорошие, сам говорил. Говорил ведь?

— Н-ну, г-говорил, — судорожно сглотнул я, представив на миг, в каких конвульсиях забьются редакторы городских газет, когда я принесу им маковкинские шедевры.

— Вот и ладненько! — улыбнулся поэт. — Ну, это мы посла еще обмозгуем, когда я те третью книжку привезу.

Физиономия моя вытянулась:

— Третью?!

— Ага, Дмитрич. Я ее щас на своей машинке одним пальцем дотюкиваю, а сам уже и четвертую начал. Так что мы с тобой, друг мой Платон, еще поработаем. Ну а пока бывай, спасибо тебе... — И мы распрощались.

Однако вернемся к главному «свершению». Лейла Шамсудиновна вышла на службу, и... И, верный своей «генеральной линии», Валерий Макарович тотчас прислал к ней вестового Виктора Петровича.

И вестовой, прискакав в приемную, храбро пропищал:

— Лейла Шамсудиновна! Валерий Макарович сказал, что нечего вам тут без дела сидеть: всё равно никто не звонит, не приходит и корреспонденции никакой нет. В общем, берите-ка, Лейла Шамсудиновна, ящик с книгами, складной стол и отправляйтесь на улицу, на наш рынок. Ручкин с ними договорился, пристройтесь там где-нибудь и торгуйте. Ясно?

Лейла, отвыкшая за два месяца от преображенско-булковских штучек, опять было испугалась, но я добродушно хмыкнул и простодушно кивнул:

— Ясно! — Бросил взор за окно: — Да это ж, Лейла Шамсудиновна, лучше и не придумать. Гляньте, какие погоды стоят! Солнце, тепло — красота, да и только! Да мы с вами прекрасно отдохнем! Виктор Петрович, вывозите стол, два стула, книги — мы готовы.

Булков чуть вздрогнул от этого «мы», но промолчал. Повернулся и пошел на склад. Ну а уже через полчаса я и Лейла Шамсудиновна сидели на солнышке «за прилавком». Я купил ей легкую панамку, чтоб головку не напекло, а сам разделся до пояса и загорал. Нас приткнули в один ряд с тётками, торгующими майками, шортами, сланцами, соломенными шляпками и прочей летней мутотой. К вечеру мы уже были своими в этом торговом бабьем царстве. Правда, «бизнес» шел не шибко, хотя книжек десять продали. Но дело-то, как говорит незабвенный Алексей Михайлович, не в этом. Главное, мы сидели на воздухе, на солнышке, испытывая (по выражению не менее незабвенного Гаврилы Петровича) радость душевного общения и вкушая яблоки, груши, бананы и впивая минералку и ледяной квас. Гм... Кстати, о бананах. В конце рабочего дня, отделившись от заболтавшейся с подругой мамыши, к нам уверенной поступью рэкетира подвалил очень миленький нарядный малыш лет пяти и уставился мне прямо в глаза абсолютно взрослым, даже каким-то жутковатым взглядом.

Секунд десять я отвечал ему взаимностью, а потом несколько нервно заёрзал:

— Чего тебе, отрок? Книжечку хочешь?

Хриплый младенческий бас:

— Банан!

— Что-о?! — Я едва не грохнулся со стула.

— Банан! — И пухлый указующий перст ткнул в лежащий на нашем прилавке возле Лейлы Шамсудиновны желто-восковой тропический плод.

На время я лишился дара речи от такой детски-недетской наглости, а когда обрел, то с великим трудом подавил в себе страстное желание обматерить вундеркинда. Буркнул только что-то невнятное. В ответ — тяжелый ненавидящий взор, презрительный хмык — и маленький попрошайка медленно и вальяжно поканал к мамаше. Мы же еще с минуту сидели потрясенные, и наконец я вздохнул:

— Уфф, милая... Ну как тут не процитировать самого себя: «На прошлое и настоящее надежды никакой, только на будущее...» Уфф!.. Вот оно, Лейла Шамсудиновна, наше светлое завтра. Ешьте скорее банан, а то вдруг чудовище вернется.

Съела. Чудовище не вернулось.

Ну вот примерно так и протекали наши торговые дни. Иногда нас навещал осиротевший Елисей Парисович, топтался как конь вокруг да около минут двадцать, натужно острил и залиристо-злобно ржал своим же мерзким островам. А раз в середине дня случилось самое настоящее солнечное затмение, да такое классное (подобное я наблюдал лишь однажды в жизни, еще младшим школьником; Лейла же Шамсудиновна подобного, естественно, в силу возраста никогда не наблюдала)! Мы вместе с тётками-соседками бросились коптить стёклышки, а потом смотрели через них на солнце. Минут на пятнадцать всё вокруг погрузилось в черно-желтоватый полумрак, и казалось, что жизнь остановилась: торговцы перестали торговать, покупатели покупать, рыночные собаки — клянить подачки... Потрясающе...

Правда, в какой-то день Лейла Шамсудиновна дала слабину. Капризно надула губки и пискнула:

— Ой, Юрий Дмитриевич, я устала! Ну правда, надоело уже. Сидим тут как не знаю кто, зато эти-то, — мотнула панамкой в сторону Дома Печати, — бездельничают в комфортных условиях!

— Милая! — Я назидательно задрал кверху указательный палец. — Что значит — «эти-то»? О руководстве так не положено. И почему же они, позвольте спросить, бездельничают? Валерий Макарович, например, играет в шахматы с вашим Барановым, кормит гулюшек, правит осанку Виктору Петровичу, а последний, в свою очередь, — Шубе. Нет, милая, у них весьма нелегкая, я бы даже сказал — очень сложная и трудоемкая жизнь. Ну а мы...

Нет, дорогая, мы по сравнению с этими несчастными пахарями — просто курортники. Загорели-то как! А лето ведь кончается! «Кончается лето, кончается лето. Осталась каких-нибудь пара недель!» — пропел. — И вообще, это же, может, последнее лето... (Во, сморозил!)

— Последнее?... — Лицо Лейлы вытянулось. — Последнее лето... чего?!

— Господи, ну не жизни же! — артистично всплеснул я руками. — Что вы себе такое вообразили! Это же последнее лето... м-м-м... года, Лейла Шамсудиновна, — глубокомысленно изрек я. — Которое, увы, на исходе.

И, представляете, она... Нет, ну не накаркала, конечно, но, скажем так, нащепетала. Откуда ни возьмись набежали свинцовые тучи, заволокли солнце, и мы, набросив на книги целлофан, едва успели укрыться в расположенном в десяти шагах самом популярном питейном заведении округа с романтическим неофициальным названием «Санта-Барбара».

К чести Валерия Макаровича, он за своими гулюшками и ферзями про нас не забыл, и вскоре в «Санту-Барбару» ворвались мокрые и хохочущие как мальчиш-

ки Булков с Ручкиным. И когда дождь прекратился, они ловко и сноровисто эвакуировали нас со слегка подмоchtenным товаром на базу.

— Ну вот, колдунья, — поцеловал я уже в приемной Лейлу Шамсудинову в губы. — Ну вот ваша мечта и сбылась. — Вздохнул: — Ладно, давайте работать по основной специальности, хотя... — глянул на часы. — Хотя недолго осталось... — Осёкся и прислушался: в моем кабинете трезвонил телефон. — Извините, я мигом. Только бы не Маковкин!..

К счастью, это был не Маковкин. Это был Сашка Майоров.

— Слушай, ну где ты пропадаешь? — возмущенно прорычал он. — Который день звоню, звоню — и всё голый номер! Опять на курсах, что ли?

— Да нет. — И пояснил: — Просто Преображенский... гм... мамзель ту, с которой ты меня видел, заставил на рынке книжками торговать, ну а я, естественно, присоединился.

— Молодец, — одобрил Сашка. — Но ладно, я что звоню-то. Я помню, что у ты послепослезавтра день рожденья. Завтра я, наверно, в Москву укачу, а утром забегу, с подарком. Слушай, тебе какую картинку принести — «Девочка, сидящая на горшке» или «Девочка, выдавливающая прыщик»? А может, хочешь «Девочку, примеряющую лифчик» или «Девочку, подтягивающую рейтузы»? Это у меня щас новая серия такая пошла, про «Девочек».

Признаюсь, я немного замаялся.

— Э-э-э... м-м-м... Сань, да ты ж меня знаешь, я же в некотором роде консерватор... А нельзя что-нибудь в твоём классическом, коронном стиле? Ну, ты понимаешь.

— Да уж понимаю, — хмыкнул он. — Так-так-так... Что же-что же?... Ага! Всё! Есть! Ладно, жди...

Утром он ввалился в кабинет, весь из себя, в костюме, при «гавриле» (так называл галстук), и прямо с порога развернул метровой длины лист. Пожал мне руку: — Держи, консерватор! В самом что ни на есть «классическом» и «коронном» стиле!

— Спасибо... — пробормотал я. — А... что это?

— Как — что?! — удивился Сашка. — Зенки-то разуй! Триптих про передвижников, которые отважно елдырят недвижимость, вавилонят безымянную высоту и осваивают Кудыкину гору. Усёк?

— У-усёк... — осторожно кивнул я, беря в руки лист. Действительно, классический майоровский стиль: гротеск, бурлеск, буффонада, клоунада, «парад-алле». Хаотичное на первый взгляд нагромождение архитектурных конструкций, зданий, соборов, башен, мостов, дымящих заводских труб, и — вода. Кругом вода. Море воды. А на воде и под водой (тонут) — пароходы. И все — тоже дымят, как заводские трубы. Огромный «Париж» и малюсенький «Чернозёмск», гордый «Майоров» и скромный «Титаник», одноместный «Брянск» (в Брянске Сашка учился в художественном училище) и трехэтажный «Берлин»... И все дымят, дымят, дымят... А в небе...

А в небе парят и царят, словно птерозавры и птеродактили в юрский период, самолеты и вертолеты, диковинные вертолеты и ракеты, краснотелые дирижабли и воздушные шары с пассажирами на борту. И...

— И знаешь, как эта... этот триптих называется? — выковырнул меня из процесса безмолвного созерцания Сашка.

— Ну?

— «Падение Икара», вот как.

— Да-а?... Гм... — Я почесал затылок. — Слушай, наверно, я слишком тупой...

— Ты не тупой, а слепой. Внимательнее, внимательнее смотри.

Я добросовестно стал смотреть еще внимательнее.

Без результата.

Ворещ рассердился:

— Твою мать! Да сюда, сюда гляди! — И ткнул пальцем в самый краешек центральной части «триптиха». — Видишь?

Теперь я наконец увидел. Торчащие из воды микроскопические ножки и... Ага, вроде бы кончики крыльев...

— Видишь? — утомленно повторил Сашка. — Вот тебе, консерватор, и падение Икара. Поднялся парень хрен знает куда, за облака, на самодельных крыльях, небось возомнил, что самый умный и крутой, — а солнце бац! — воск растопило, перья повылетали — он и навернулся. Хорошо в воду, об землю брякнулся б — костей не собрал бы!

— Так может, еще утонет, — кисло вато предположил я.

Майоров не стал спорить.

— Может, и утонет. А может, и выплывет. А может, и не выплывет и не утонет, а... а там, в подводном царстве, рассекать начнет. — Глаза его заблестели: — Погоди-погоди... Эй, это ж можно еще один триптих сделать, «Заплыв Икара»... Всё, с меня пузырь, за идею! Ладно, на, держи. Паспарту потом принесу или сам рамку сделаешь, на стену повесишь. Ладно?

Я кивнул:

— Ладно. Спасибо.

Еще с полчаса поболтали о всяком-разном, и Санька встал.

— В Центр не поедешь?

— Не, за каким мне в Центр. — Неопределенно мотнул головой в направлении приемной: — Сам понимаешь...

Он рассмеялся:

— Да уж понимаю! Вернусь из Москвы — встретимся. Ну, Ромео, ни пуха тебе... — И умчался.

А мы с Лейлой сходили вечером в кино, и я проводил ее до дома. А утром, только шагнул в свой кабинет, — звонок. Подскочил к аппарату, схватил трубку:

— Да?

И — странный, дрожащий голос Витьки Казакова:

— Юрец... Я только что узнал... Санёк в реанимации, в коме...

Я как стоял, так и сел...

Он умер в больнице, не приходя в сознание. Что же все-таки произошло? Трудно сказать. Сашу нашли рано утром в мастерской, истекающего кровью и с огромной раной на голове. Где, как столкнулся он с подонками, которым, конечно же, было глубоко наплевать на то, что Саньке надо было везти свои работы в арт-галерею в Москву, на то, что он готовился к персональным выставкам в Германии и Париже, и на всё-всё остальное — да просто, в конце-концов, на жизнь человека... Может, его убили по пьянке, чтобы залезть в карман и купить еще бутылку, — всё может быть... Такая страна, такая жизнь, такие люди, такие нелюди...

Когда мы прощались, Саша пожелал мне ни пуха ни пера, но кто же, кто мог подумать, что желать-то надо было мне ему!.. Бессмысленно и глупо теперь рассуждать: мол, а вот если б поехал тогда с ним, возможно, ничего бы и не произошло. Даже не в смысле, что я бы его там геройски от чего-нибудь спас, а просто — не на той остановке бы вышли, «другой бы улицей прошли», других людей встретили. Или — не встретили... Но чёртова жизнь не признает сослагательного наклонения!..

На кладбище была огромная толпа людей, подавленных, оглушенных, убитых. Говорили много доброго, хорошего о Саньке, а я молчал: не люблю выступать принудительно, особенно по таким страшным поводам. Какие тут найдешь слова?.. Какие?! И в тот жуткий день, прощаясь с Сашей, я впервые в жизни поцеловал покойника...

А назавтра, по самой злейшей иронии судьбы, был мой день рождения. Мы с Лейлой Шамсудиновой сели за столик в маленьком летнем кафе, и она, видя мое... даже не знаю, как выразиться, — ошупелое, очумелое, отсутствующее состояние, тихо спросила:

— Он так много для тебя значил?

А я... Я растерялся. Я не мог это сформулировать. Я не мог толком ответить. Но попытался. Вы понимаете, в моей жизни было уже, увы, достаточно смертей, в том числе и людей, формально более близких, однако...

— Знаешь, — сказал я. — Когда мы вместе работали, то виделись каждый день и... В издательстве нас было несколько друзей, которые сообща пережили много всякого: и хорошего, и плохого, и грустного, и веселого... Однажды мы с Сашкой уронили в коридоре бутылку водки, и она разбилась. А времена по части спиртного были суровые — самый разгар горбачевского «сухого закона»: где еще взять? Ну и стали собирать с линолеума водку носовыми платками и отжимать в какую-то миску. В результате набрали с полбутылки жидкости почти черного цвета. Принялись фильтровать: делали воронки из промокашки, цедили через какие-то тряпочки... Чёрт, что я несу!.. Ну а водку ту все-таки выпили. Правда, серая была и на зубах скрипела...

А еще мы с ним любили ездить в колхозы. Они заказывали иногда издательству книги о хозяйстве, о его людях, и вот мы ехали: я — как редактор, на предмет «ревизии» имеющегося текстового материала, а он как худред — посмотреть, что есть у заказчиков из фотографий. Представляешь: советские времена, мы — почти сопляки еще, а с нами как с важными шишками носятся председатели, парторги, редакторы районных газет. А перед отъездом — шикарный обед в VIP-зале колхозной столовой, да каждому чуть ли не по мешку кур, мяса, яиц. Очень нам такие поездки нравились...

А однажды мы подрались. Ну, не совсем, конечно, в трезвом виде. Молниеносно, стремительно — р-раз! р-раз! — молодые, горячие были... А уже через минуту обнимались и смущенно прятали глаза... К чему я это всё говорю? Не знаю...

Когда Санёк уволился, мы, естественно, встречаться стали гораздо реже, но... Но всё равно оставалась какая-то постоянная, незримая связь. Бывало, не виделись месяцами, но я всегда знал: по соседству со мной, с моим миром, моей вселенной находится другой мир, другая вселенная — «Вселенная Майорова», и достаточно протянуть руку к трубке, набрать номер...

А вот теперь этого мира, этой вселенной нет («художник жив в своих произведениях» — это ясно, но несколько из другой оперы)... Нет. Осталась дыра. Чёрная дыра... Он ушел и забрал с собой часть меня. Понимаешь?..

С минуту я молчал. Потом закурил и достал из сумки газету. Развернул на полосу, посвященной Саше, с которой на нас смотрел его портрет и... его подаренный мне «триптих».

— Вот, слушай. Витька в некрологе написал: «Саша любил «Битлов» и Высоцкого. Трагическая случайность — он ушел от нас в сорок два, как и Высоцкий...»

— А что написали вы? — тихо спросила Лейла.

— Я? — Вдохнул: — А я написал, что «сравнение с Высоцким, конечно, более общедоступно и патриотично, однако у меня перед глазами — Сашка, куражно марширующий и самозабвенно орущий»:

We all live in a Yellow Submarine,
Yellow Submarine, Yellow Submarine!..

Все мы живем в Жёлтой Подводной Лодке...

Саша! Мы все плывем в нашей Жёлтой Подводной Лодке, и ты плывешь в ней вместе с нами!..

... Говорят, душа усопшего вскоре покидает наш мир.

Сомневаюсь.

И Икар не упал.

Он — просто нырнул.

Нырнул, чтобы остудить разгоряченные крылья и взлететь снова.

И пускай это случится когда угодно и где угодно. В любом времени и любом измерении.

Но это — случится.

Обязательно случится!

И вообще, все близкие души когда-нибудь обязательно будут вместе.

Понимаешь?..»

— Понимаю, — прошептала Лейла. — Только... Только вот узнают ли они там друг друга?..

Я промолчал.

Это была пятница...

*А что тоска порою посещает
Иль на душу ложится тенью грусть, —
То жизнь мою История вращает.
Спокойно, гордо.
И — вращает пусть!*

ЭТО БЫЛА ПЯТНИЦА, а в понедельник...

Но впрочем, до понедельника были еще выходные, и в те выходные мы с Лейлой...

В общем, когда в понедельник утром Виктор Петрович нарисовался в приемной и заявил:

— Лейла Шамсудиновна, берите книги и на рынок, — и довольно жестко (по его, разумеется, меркам) добавил: — Одна. Без Юрия Дмитриевича, — сие не стало для нас сюрпризом.

Я только уточнил:

— Это Валерий Макарович распорядился?

— Валерий Макарович, — смело кивнул Булков. — А тебе, Юра, велел зайти к нему. У него для тебя особое задание.

Я встретился на миг взглядом с огромными глазами Лейлы Шамсудиновны и молча вышел из приемной.

Преображенский кормил завтраком голубей.

— Садись, Юра, — почти душевно пророкотал он, а я сказал:

— Валерий Макарович!..

Он поморщился:

— Погоди, ты же видишь, что я занят.

Ладно, сел и погодил, а когда Преображенский наконец воцарился в своем кресле, сделал второй заход:

— Валерий Макарович!.. — И — вызвал легкий царственный гнев:

— Юрий Дмитриевич! Невежливо перебивать старших и по возрасту и по служебному положению! Ты выслушаешь меня, а потом я буду слушать тебя. Итак, только что звонил заказчик, мы будем делать книгу...

И — третья попытка:

— Валерий Макарович! Я... увольняюсь, так что книгу эту будете делать без меня. — Встал и положил на стол заявление.

Секунд десять Преображенский молчал. Потом дёрнул щекой:

— А хорошо подумал, Юра?

— Хорошо. — Я пожал плечами: — Просто не вижу больше смысла здесь работать. Можно идти, Валерий Макарович?

Плечами пожал и он:

— Иди...

Я вернулся в приемную. Храбреца Булкова там уже не было, в дверях меня встретила Лейла Шамсудиновна с листком в тоненьких пальчиках.

— Ну, Юрий Дмитриевич?

— А что «ну», прекраснотишка? — развел я руками. — И совсем, знаете ли, не больно. Следующий!..

Она отнесла заявление, и, похоже, это уже не стало для Преображенского сюрпризом.

В конце дня он зашел в мой кабинет.

— Не передумал?

— Да нет, — буркнул я, — С чего вдруг?

— Ты понимаешь, — вздохнул Валерий Макарович. — Я еще не звонил Бочарову... Но ведь знаешь, какова будет реакция.

— Да уж знаю, — рассмеялся я. — Как и на всех «исходящих» — хрен с ними!

— Вот именно. А я действительно не хочу, чтобы ты увольнялся. — Он подошел к двери: — И учти: если когда-нибудь надумаешь вернуться, я — я! — возьму тебя обратно, а вот Лёша, ежели, конечно, выйдет на работу, не возьмет тебя ни за что. Понял?

— Понял, — вздохнул и я.

— Ну а коли понял, то есть еще время подумать. — И он вышел.

По закону нам полагалось отработать две недели. Ну вот и «отрабатывали». Лейла Шамсудиновна приводила в порядок свои секретарские дела, а я — свои редакторские. Плюс написал, совершенно неожиданно для себя, фантастический рассказ «Грюнвальд-1410», в котором в миллионный раз в мировой и местечковой литературе обыграл бессмертную тему «машины времени», и оперативно пристроил его в Витькин журнал. А еще... А еще я постоянно думал: но что же, чёрт побери, будет дальше?..

Преображенский с Булковым нас больше не трогали. Ни на предмет торговли, ни на предмет чего-либо еще, и «работали» те последние недели мы в режиме свободного посещения: утром — в издательство, ну а дальше — благо погода позволяла — чаще всего опять на речку, или в лес, или в какой-нибудь парк. Ну а что? Лето-то ведь действительно заканчивалось.

За день до увольнения Преображенский остановил меня в коридоре:

— Не передумал?

Я покачал головой:

— Нет, не передумал, Валерий Макарович.

Через полчаса он зашел ко мне:

— Я звонил Лёше и сказал, что ты увольняешься. Догадываешься, каков был ответ?

— Догадываюсь, — хмыкнул я.

— «Да и хрен с ним!» — процитировал Преображенский. — Ну, ладно... — Он протянул руку: — Я с завтрашнего дня в отпуске. Приказы и трудовые вам подпишет Булков. Да, чуть не забыл: при расчете вернешь в бухгалтерию стоимость курсов. Согласись, это будет логично и справедливо. Ну всё, будь здоров!

Я пожал его руку:
— И вам того же...

А в самый последний наш трудовой день мы с Лейлой Шамсудиновной с утра и почти до обеда просидели друг напротив друга в приемной. Как пассажиры на вокзале в ожидании поезда... Да нет, вернее даже не поезда, а двух совершенно разных поездов дальнего следования, которые очень скоро унесут нас в совершенно противоположных направлениях. На время? Навсегда? Этого мы не знали...

Булков суетливо подписал приказы об увольнении, трудовые книжки и вручил их нам, пряча глаза.

— Поверьте, мне очень, очень неприятно, что именно на мою долю выпала такая грустная миссия... — прочувствованно мямлил он. — Честное слово, ребята, очень, очень печально...

— Да бросьте, — махнул я рукой, а Лейла Шамсудиновна обворожительно улыбнулась:

— Ну что вы, дражайший Виктор Петрович! Всё было очень мило...

Посетив бухгалтерию, где с меня «логично и справедливо» счесали стоимость компьютерных курсов, я в последний раз вошел в свой... да нет, теперь уже бывший свой кабинет. Взял сумку, постоял немного, вздохнул и повернулся к двери.

И вдруг...

И вдруг зазвонил телефон. Я поморщился: братъ — не братъ? Ведь меня здесь уже фактически нет. Ладно, возьму «на посошок».

— Да?

Вежливый мужской голос на другом конце провода:

— Юрий Дмитриевич?

— Да.

— Здравствуйте, это Москва беспокоит. Издательство «Экспо», заведующий редакцией Травин Георгий Иванович...

У меня чуть-чуть задрожали коленки.

— Да-да, з-здравствуйте, слушаю!..

— Юрий Дмитриевич, вы присылали нам свои романы?

— Д-да... п-присылал... — В горле что-то тоненько запикало.

А «московский голос» продолжал:

— Мы рассмотрели их в редакции детективной литературы и...

— И?.. — прошептал я.

— И должен сказать вам, что они нам подходят. Ну, может, потребуется кое-где незначительное сокращение, однако...

Однако я его уже не слышал. Меня куда-то вдруг понесло, понесло...

— ...Юрий Дмитриевич! Юрий Дмитриевич!

— А? Что? — Вернулся на землю.

— Я говорю, что уже к Новому году книги, возможно, выйдут из печати. Вам понятно?

— Да-да, понятно...

— Вы не могли бы приехать к нам? Подпишете договоры, получите аванс, ну а окончательный расчет по выходу книг.

— Конечно! Конечно, приеду!.. — пробормотал я.

— Тогда запишите адрес и телефон.

Я записал как робот.

— Ну, всего доброго, Юрий Дмитриевич. До встречи!

— До встречи...

Я положил трубку и как сомнамбула медленно вышел из кабинета.

Лейла Шамсудиновна уже заперла приемную и стояла в коридоре, ожидая меня.

Я тоже запер кабинет, и мы отдали ключи Булкову. Ну, вот теперь действительно всё...

Молча мы прошли по коридору, молча спустились вниз в лифте и вышли на улицу. Дошли до книжного киоска, что на углу Дома Печати, и остановились. Отсюда, по идее, ей направо, а мне налево.

— Юрий Дмитрич... — Лейла повернулась ко мне. В глазах ее блстели слезы. — И что же теперь? Как мы теперь? И что вообще будет дальше?..

А я и сам не знал, что теперь, как теперь и что будет дальше. Квакнул нечто маловразумительное типа: «Всё будет хорошо...» и поцеловал ее, как дурак, в щеку.

Она отшатнулась, резко повернулась и пошла прочь. Направо. Я смотрел ей вслед, и когда она скрылась за углом, скрипнул зубами и побрел к остановке. На-лево.

Через дорогу со стрекотом и щебетанием бежала стайка первоклассников, веселых и счастливых. Вот глупенькие!

Ах да, я и забыл, что сегодня первое сентября, День, так сказать, Знаний...

Наше с Лейлой «последнее лето года» кончилось.

Ну и? Точка?..

Но, впрочем, нет.

Я же, братцы, все-таки какой-никакой, а музыкант, и потому еще —

КОДА

Через два месяца мне позвонил Бочаров и предложил вернуться, на должность... главного редактора. Насколько я понял, выйдя на работу после лечения, Алексей Михайлович оказался там и в «человеческом», и в «творческом» вакууме: один против «блока Преображенского — Булкова», ну и решил кликнуть для поддержки меня.

Мы с Лейлой Шамсудиновной посоветовались, и я согласился. Реакция же Валерия Макаровича и Виктора Петровича была... Бочаров рассказал, что они неделю ходили к нему и уговаривали не брать меня обратно. Странные люди! Уж что я-то им сделал?..

Примерно через полгода Алексей Михайлович выпер-таки Валерия Макаровича. Выпер — и Виктор Петрович молниеносно возвратился под протекторат Бочарова и снова стал бегать для него за «чекушками».

Еще через месяц или два образовалась вакансия в бухгалтерии, и Алексей Михайлович, согласившись с моим предложением, принял на работу бухгалтером (она уже окончила свой институт) Лейлу Шамсудинову.

Вскоре я взял Джона и переехал к своим родителям. (Признаюсь, положила руку на сердце: я ведь просто не стал загружать вас описанием, так сказать, «обратной стороны Луны». Но поверьте уж, что и моя, и Лейлы, гм... «семейная жизнь» давно превратилась в кошмар. Но — не захотел я говорить об этом. Не за-хо-тел!)

По прямо-таки удивительному совпадению, и Гаврила Петрович тогда же продал квартиру, оставшуюся ему от родителей, развелся с женой и купил маленький домик там же, у нас на «Низах», на соседней с моей улице.

Еще через какое-то время и Лейла Шамсудиновна стала «свободной».

За следующий год произошли и некоторые другие события: вышли в Москве мои детективы — «Чёрный Каракурт» и «Возвращение Каракурта», а в нашем издательстве, помимо прочих, и две поэтические книги Александра Николаевича Маковкина, «Луч из мрака» и «Сила чистая и нечистая», «обделанные» вашим покорным слугой. Съездил на год в Израиль и воротился обратно Елисей Парисович — не пондравилось...

Увы, горькое событие. Скорopoстижно умер от инсульта Святослав Дегтярёв. Неожиданно! Дико! Не верилось! Не верится до сих пор. Он действительно ушел в самом расцвете сил...

Еще через полгода в неких высоких инстанциях издательство решили закрыть. Надо было «биться», но Алексей Михайлович на «битву» оказался уже «не годён». В один прекрасный день он просто не вышел на работу, прислав с водителем заявление об уходе по собственному желанию.

Но мы все-таки устояли. С помощью самых разных людей, в том числе и Серёги, достучались аж до губернатора, председателя областной Думы и — устояли. Хотя наверное, всё же до поры до времени...

В отпуск мы с Лейлой Шамсудиновной съездили на юг и впервые за последние годы (слушайте, а ведь и правда — уже годы!) по-настоящему отдохнули. А когда вернулись, не дожив нескольких дней до своего четырнадцатилетия, сдох мой верный Джон...

Лейла Шамсудиновна, похоже, окончательно выдернула меня из нашей славной рок-группы, невзирая на укоры ребят и особенно продюсера и бас-гитариста Олега...

Да, еще раньше я добил продолжение «Луны...» — «Перстень Вельзевула». Пока — в стол. «Гамлета» своего (ликуй, Елисей Парисыч!) и правда так и не написал. Хотя впрочем...

Хотя впрочем, недавно Лейла Шамсудиновна... родила мне сына. Я мечтал, чтобы он появился на свет в день моего рождения (по прикидкам врачей так и должно было случиться), но — недельку «не дотянули». Зато «дотянул» бас-гитарист Олег. Его Степан родился как раз в один день со мной. Когда мы обменивались поздравлениями, я в шутку сказал: «Видишь, мы с твоим сыном родились в один день, и даже в один год — Петуха. Значит, по характеру и вообще — «внутреннему содержанию» он будет похожим на меня». «Да не дай бог!» — дружески ответил Олег.

Ну что, «родственники, друзья и знакомые»? Съели?!

Да, а еще я отпустил, как когда-то, волосы ниже плеч, и ко мне, гордо влекущему по улице коляску с Русланом, обращаются исключительно: «Молодой человек!» Ну, милая? Ведь я обещал тебе, что всё будет хорошо?

Так оно и будет.

Let, как говорится, it be!

Понимаешь?..

P.S.

Она, пожалуй, бесконечна, жизни тема...

Читатель, рядом сядь и покури

И — самая тяжелая проблема:

Услышь душой и сердцем попури.

Кошмарной бурей пронесутся звуки,

В душе оставив леденящий свет,

Печальные тревоги, сердца муки

И этот долгий, беспросветный бред...

Нет, все-таки мудрец, ох и мудрец же наш Александр ибн Николаевич Маковкин!

Ну и теперь уж, ясное дело, — точка.